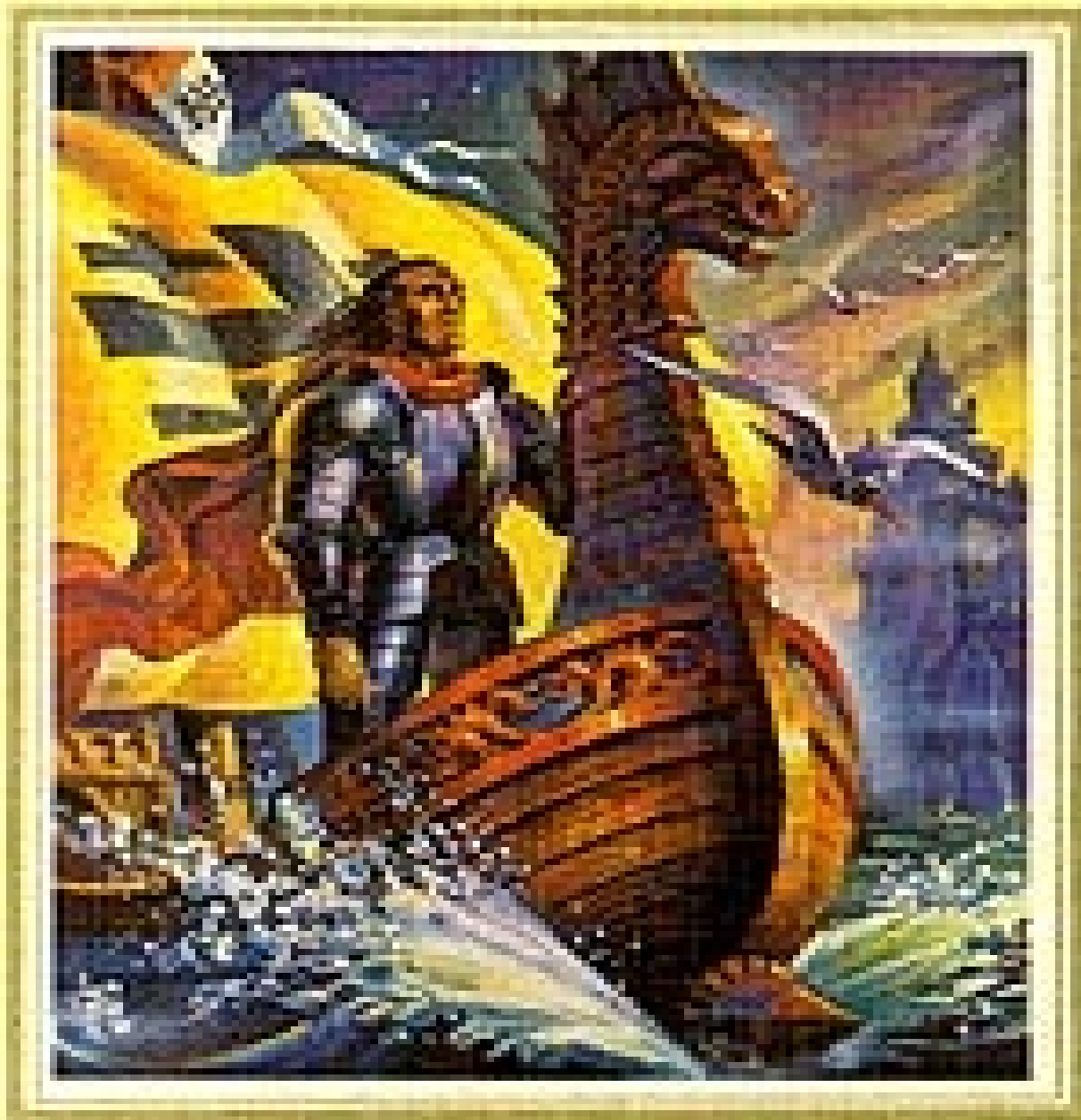


Теренс Х. УАЙТ

# СВЕЧА НА ВЕТРУ



Король  
былого и грядущего

## Annotation

Тетралогия «Король былого и грядущего» английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906—1964) — одна из самых знаменитых и необычных книг жанра «фэнтези», наряду с эпопеей Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» и трилогией «Горменгаст» Мервина Пика. Воссозданная на основе британских легенд и мифов история «короля былого и грядущего» Артура, его учителя, волшебника Мерлина, рыцарей Круглого Стола представляет собой удивительное сочетание фантастической сказки и реальной истории, юмористики и трагедии.

---

- [Теренс Хэнбори Уайт](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# Теренс Хэнбори Уайт

## Свеча на ветру

*После недолгого размышления он сказал: «Я нашел, что на многих моих пациентов благотворно влияли зоологические сады. Господину Понтифику я прописал бы курс крупных млекопитающих. Только лучше бы ему не знать, что он созерцает их в лечебных целях..»*

*INCIPIIT LIBER QUARTUS*

Годы, накапливаясь, не проявляли доброты к Агравейну. Даже в сорок он выглядел на свой нынешний возраст, на пятьдесят пять. Трезвым он бывал редко.

Мордред же, холодный и хилый, вроде бы и вовсе возраста не имел. Подобно выражению, таящемуся в глубине его синих глаз, подобно переливам его музыкального голоса, годы Мордредда оставались неуследимыми.

Стоя в крытой галерее дворца Оркнейцев в Камелоте, эти двое смотрели на ловчих птиц, выставленных на колодках под солнце, заливавшее муравчатый дворик. Галерею украшали новомодные стрельчатые арки — наступала эпоха пламенеющей готики, — в грациозных проемах этих арок и стояли, храня благородное безразличие, птицы: самка кречета, большой ястреб, два сокола (самка с самцом) и четверка маленьких дербников, прошедших в неволе всю зиму и все-таки выживших. Колодки отличала особая чистота, ибо в те дни охотники полагали, что ежели вы прирастали к охоте, сопряженной с обильным пролитием крови, вам следует с особым тщанием стараться скрыть ее лютый характер. Алую кордовскую кожу колодок покрывало прелестное узорчатое золотое тиснение. Должики ястребов были сплетены из белой конской кожи. А кречетиху, дабы отметить высокое положение, занимаемое ею в жизни, облачили в опутенки и должики, вырезанные из заверенной авторитетами кожи единорога. Чтобы добраться сюда, кречетиха проделала долгий путь из Исландии, и это было самое малое, что могли для нее сделать владельцы.

Приятным голосом Мордред произнес:

— Ради Бога, давай уберемся отсюда. Здесь воняет.

При звуках его голоса птицы чуть шевельнулись, отчего колокольца их издали еле различимый, как бы шепчущий звон. Колокольца, не считаясь с расходами, доставляли из Индий, и пара, украшавшая самку кречета, была изготовлена из серебра. При звуках колоколов сидевший на своем насесте в тени галереи огромный филин, которого иногда использовали для ловли приманки, открыл глаза. За миг до этого он еще мог показаться чучелом, неряшливым пуком перьев. Но стоило глазам распахнуться, и филин превратился в нечто из Эдгара Аллана По. Вряд ли вам понравилось бы смотреть в его глаза. Глаза были красные, страшные, глаза убийцы,

казалось, источающие свет. Они походили на рубины, полные пламени. Филина звали Великий Герцог.

— Не чую я никакого запаха, — сказал Агравейн. Он с подозрением потянул носом воздух, пытаясь хоть что-то унюхать. Но и к вкусу, и к запаху он давно уже стал нечувствителен, да к тому же и голова у него болела.

— Здесь смердит Спортом, — сказал Мордред, произнося последнее слово как бы в кавычках, — а также Подобающим Занятием и Избранным Обществом. Пойдем лучше в сад.

Агравейн никак не мог расстаться с темой их разговора.

— Что проку опять поднимать шум вокруг этой истории? — сказал он. — Мы-то с тобой понимаем, кто тут прав, кто виноват, да ведь только мы, а больше никто. Нас и слушать не станут.

— Нет уж, придется послушать. — Крапинки, испещрявшие райки Мордредовых глаз, полыхнули лазеревым светом, ярким, как у филина. Из вяловатого человека с перекошенным плечом, облаченного в нелепый костюм, он преобразился в воплощение Правого Дела. В подобных случаях он становился полной противоположностью Артуру — безусловным недругом всего, что обозначается словом «англичанин». Он обращался в нестигаемого Гаэла, отпрыска утраченной расы, более древней, чем раса Артура, и более утонченной. Когда Правое Дело вот так воспламеняло его, Артурово правосудие принимало в сравнении вид тупоумной буржуазной затеи. Поставленное рядом с варварским и темным разумом пиктов, оно представлялось проявлением пресного самодовольства. Всякий раз, как он подобным образом выказывал свое неприятие Артура, в чертах его проступали вдруг все его материнские пращурсы, в основе цивилизации коих, как и в основе воззрений Мордредов, лежал матриархат: то были воины, скакавшие на неседланных конях, бросавшиеся в атаку на колесницах, искушенные в военном коварстве и украшавшие свои жуткие оплоты головами врагов. Длинноволосые и свирепые, они выходили, как сообщает один из авторов древности, «с мечом в руке навстречу рекам крови иль вздыбленному бурей океану». То была раса, олицетворяемая ныне скорее Ирландской Республиканской Армией, нежели шотландскими националистами; раса, представители которой всегда убивали лендлордов и всегда валили вину за их смерть на них же самих; раса, которая могла превратить в национального героя человека, подобного Линчагану, откусившему женщине нос, — поскольку он был из ирландцев, а она из галлов; раса, заброшенная вулканом истории в отдаленные области земного шара, где она, обуреваемая ядовитой обидой и чувством неполноценности,

и поныне являет напоказ всему свету застарелую манию величия. Это из нее выходили католики, способные бросить открытый вызов любому папе или святому — Адриану, Александру или Святому Иерониму, — если политика оных этих католиков не устраивала: истерически раздражительные, терзаемые скорбями, бранчливые хранители сгинувшего наследия. То была раса, которую, при всем ее варварском, коварном, отчаянно храбром непокорстве, много веков назад поработил чужеземный народ, олицетворяемый ныне Артуром. И это обстоятельство также разобщило отца и сына. Агравейн сказал:

— Я хотел поговорить с тобой, Мордред. Черт, и присесть-то не на что. Садись вон на ту штуку, а я сяду здесь. Тут нас никто не услышит.

— А хоть бы и услышали. Нам именно это и требуется. Такие вещи нужно говорить громко, а не шептаться о них по укромным галереям.

— В конце концов и шепот достигает нужных ушей.

— Если бы. Ничего он не достигает. Королю не угодно слышать об этом, и пока мы тут шепчемся, он волен притворяться, что ничего не может расслышать. Как бы он пробыл столько лет Королем Англии, не научившись лицемерить?

Агравейн чувствовал себя неуютно. Его ненависть к Королю не отличалась такой определенностью, как ненависть Мордреда, в сущности, он ни к кому, кроме Ланселота, личной вражды не питал. Его озлобленность выбирала свои цели скорее наобум.

— Не думаю я, что мы добьемся чего-то, сетуя на прошлые обиды, — угрюмо сказал он. — Трудно ожидать чьей-либо поддержки в таком запутанном, да еще и Бог весть когда случившемся, деле.

— Как бы давно оно ни случилось, факт остается неизменным: Артур отец мне, и он отправил меня, еще младенца, поплавать в неуправляемой барке.

— Для тебя это факт, — сказал Агравейн, — а для других нет. Все уже так перепуталось, что никто не захочет в это вникать. Не можешь же ты ожидать, что нормальные люди станут помнить, кто кому приходится дедушкой, а кто — сводной сестрой и так далее. Во всяком случае, в наши дни из-за чьих-то частных склок люди воевать не пойдут. Для войны нужна ущемленная национальная гордость, что-нибудь связанное с политикой и требующее только повода, чтобы прорваться наружу. Нужно использовать уже готовые, подручные средства. Возьми хоть этого мужлана, Джона Болла, — того, что верует в коммунизм, — у него тысячи последователей и все готовы подействовать смуте ради собственной выгоды. Или те же саксы. Мы могли бы заявить, что поддерживаем национальные движения.

И могли бы, коли на то пошло, слить все воедино и назвать результат национал-коммунизмом. Но в любом случае требуется нечто определенное, доходчивое, чтобы пронимало любого. И враг нужен непременно многочисленный — евреи, норманны, саксы, — чтобы каждому было на кого озлиться. Мы можем возглавить движение Древнего Люда, желающего сквитаться с саксами, или движение саксов против норманнов, или сервов против общественного устройства. Нам понадобится знамя, именно знамя, да и особая эмблема тоже. Бери, какую хочешь, — свастику, коммунизм, национализм, все что угодно. А личные твои претензии к старику, это вещь безнадежная. В любом случае у тебя уйдет самое малое полчаса, чтобы растолковать, в чем они состоят, даже если ты влезешь на крышу и будешь кричать оттуда.

— Я мог бы кричать о том, что моя мать приходилась ему сестрой и что он попытался утопить меня по этой причине.

— Ну, покричи, если хочешь, — сказал Агравейн.

Перед тем как филин открыл глаза, они разговаривали о давних обидах, причиненных их роду, — о своей бабушке Игрейне, обесчещенной отцом Артура, о давно иссякшей вражде гаэлов и галлов, известной им по рассказам матери, слышанным в древнем Дунлоутеане. Именно эти обиды холодная кровь Агравейна осознавала как слишком давние и смутные, чтобы они могли послужить оружием в борьбе с Королем. Теперь они подобрались к более свежему поводу для недовольства, — к прегрешению Артура с его сводной сестрой, завершившемуся попыткой прикончить порожденного в этом грехе бастарда. Это оружие безусловно могло оказаться более мощным, незадача, однако, состояла в том, что Мордред-то и был этим бастардом. Малодушная осторожность старшего из двух братьев, обладавшего к тому же более изощренным умом, говорила ему, что сыну навряд ли следует превращать незаконность своего появления на свет в знамя, под которое могли бы собраться те, кто желает сбросить с трона его отца. К тому же Артур давным-давно сумел замять эту историю, и если Мордред вновь извлечет ее на свет Божий, он лишь покажет себя неумелым политиком.

Они сидели в молчании, уставившись в пол. Агравейну неужилось, под глазами у него набухли мешки. Мордред был, как и всегда, подтянут, опрятен и одет по последней моде. Вычурный наряд служил ему неплохим камуфляжем, под которым его кривое плечо оставалось почти незаметным.

— Я, собственно, не гордый, — произнес Мордред. Он с горечью глядел на сводного брата, вкладывая в свой взгляд куда больше значения, чем брат способен был воспринять. Глаза его говорили:



— Да ты хоть на горб мой взгляни. Мне нет причины гордиться моим рождением.

Агравейн нетерпеливо поднялся.

— Как бы там ни было, а мне нужно выпить, — сказал он и хлопнул в ладоши, призывая пажа. Затем он провел по векам дрожащими пальцами и замер, чуть покачиваясь, с отвращением глядя на филина. Мордред, пока они ожидали выпивки, с презрением созерцал Агравейна.

— Начнешь копать в старом дерьме, — сказал Агравейн, в которого пряное вино вдохнуло новую жизнь, — сам же в нем и окажешься. Ты все-таки помни, что мы не в Лоутеане. Мы в Артуровой Англии, и англичане любят его. Они либо не захотят тебе верить, либо, если поверят, обвинять станут тебя, не его, потому что ты вытащил эту гадость на свет. В таком восстании ни единый человек участвовать не станет, тут и говорить-то не о чем.

Мордред смотрел на брата. Он, подобно филину, ненавидел Агравейна и порицал его за трусость. Все, что мешало Мордреду мечтать об отмщении, было для него нестерпимо, и оттого он мысленно изливал свою неприязнь на Агравейна, про себя называя его пьяным предателем интересов семьи.

Агравейн, понимавший это и уже утешенный половиной бутылки, рассмеялся Мордреду в лицо. Он хлопнул младшего брата по здоровому плечу, понукая его наполнить свой стакан.

— Выпей, — с ухмылкой сказал он.

Мордред пригубил вино, словно кошка микстуру.

— А вот не слышал ли ты часом, — игриво осведомился Агравейн, — о великом святом по имени Ланселот?

Он подмигнул заплывшим глазом, доброжелательно глядя на кончик собственного носа.

— И что же?

— Я так понимаю, что ты наслышан о нашем *preux chevalier* [\[1\]](#)?

— Разумеется, я знаю, кто такой сэр Ланселот.

— Полагаю, я не ошибусь, сказав, что этот непорочный джентльмен пару раз скидывал нас обоих с коня?

— Ланселот впервые спешил меня так давно, — сказал Мордред, — что я уже и не помню, когда это случилось. Ну, и что же с того? Даже если человек способен спихнуть тебя с коня длинной палкой, это еще не значит, что он лучше тебя.

Странное дело, теперь, когда разговор пошел о Ланселоте, оживление Мордредра сменилось равнодушием. Агравейн же, до этой поры

поддерживавший разговор без особой охоты, внезапно обрел красноречие.

— Вот именно, — сказал он. — А кроме того, наш благородный рыцарь с давних пор состоит в любовниках у Королевы Английской.

— Всем известно, что Гвен была любовницей Ланселота еще с допотопных времен, да толку-то что? И Королю это известно не хуже прочих. Я знаю наверняка о трех случаях, когда ему говорили об этом. Не вижу, что мы тут можем сделать.

Агравейн, словно пьяный волынщик, прижал пальцем одну ноздрю, а затем погрозил тем же пальцем брату.

— Говорить-то ему говорили, — объявил он, — да все обиняками. Присылали разные там вещицы с намеком — то щит с двусмысленным изображением, то рог, из которого могут пить лишь верные жены. Вот только никто ни разу не сказал ему об этом в открытом суде, прямо в лицо. Мелиагранс предъявил всего лишь расплывчатое обвинение, да и то в пору, когда дела решались судебными поединками. А ты вот подумай, что бы произошло, если бы мы напрямую обличили сэра Ланселота, да еще при этих новейших законах, так что Король волей-неволей назначил бы следствие?

Глаза у Мордредра вспыхнули, словно у филина.

— Ну и?

— Ну и совершенно не представляю себе, что могло бы из этого выйти, кроме раскола. Артур зависит от Ланселота, потому что тот командует всеми его войсками. Ланселот — основа его мощи, потому что всякий же понимает, против грубой силы не больно-то попрешь. Но если мы сумеем устроить так, чтобы между Артуром и Ланселотом начались веселенькие дразги — из-за Королевы, — тогда мощь его даст трещину. Вот тут и настанет черед для тонкой политики. Тут и придет самое подходящее время для недовольных — для лоллардов, коммунистов, националистов и прочей шушеры. А значит, и ты улужишь минуту для своей пресловутой мести.

— Мы сможем лишить их силы, потому что они уже ослаблены изнутри.

— Раскол будет означать куда как больше.

— Раскол будет означать, что корнуольцы сквитаются за нашего деда, а я за мою мать.

— ..л не тем, что силой попрут против силы, а тем, что с толком раскинут умом.

— А это значит, что я отомщу за себя человеку, который пытался меня утопить, когда я еще был младенцем...

— ...сначала свалив его головореза, а после действуя с должной осторожностью.

— Свалив нашего прославленного чемпиона...

— ...сэра Ланселота!

Суть дела состояла в том, — и возможно, следует в последний раз подробно ее изложить, — что отец Артура убил Графа Корнуольского. Он убил этого человека, потому что возжелал его жены. В самую ночь убийства бедная Графиня понесла Артура. Рожденный слишком рано с точки зрения разного рода условностей, касающихся ношения траура, супружества и всего прочего, он был тайком отправлен на воспитание к сэру Эктору из Дикого Леса. Он так и вырос в неведении о своем происхождении и девятнадцатилетним юношей влюбился в Моргаузу, не зная, что она — одна из его сводных сестер, дочерей Графини и Графа. Сестра, уже бывшая матерью Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета и вдвое превосходившая Артура годами, весьма успешно совратила его. Плодом их союза стал Мордред, одиноко возвращенный матерью в варварской глуши Внешних Островов. Моргауза растила его в одиночестве, поскольку он был много младше всех прочих членов семьи. Все прочие уже упорхнули ко двору Короля, влекомые кто честолюбием, ибо то был величайший из дворов мира, а кто — желанием бежать от матери. Мордред же остался во власти этой женщины с ее наследственной враждой к Королю да еще и с личной обидой. Ибо Артур, хоть по незрелости и соблазненный Моргаузой, все-таки смог избавиться от нее и со временем женился на Гвиневере. Моргауза, засев на севере с единственным оставшимся у нее сыном, обрушила на мальчика-калеку всю свою страшную материнскую мощь. Она поочередно то ласкала его, то о нем забывала, ненасытная в своей плотоядности, жившая, черпая силу в любви, питаемой к ней ее собачонками, детьми и любовниками. В конце концов, один из старших сыновей в припадке ревности снес Моргаузе голову, застав ее, семидесятилетнюю, в постели с молодым человеком по имени сэр Ламорак. В ту пору Мордред, раздираемый любовью и ненавистью, что бушевали в его страшной семье, оказался одним из ее убийц. Ныне, при дворе своего отца, которому хватило такта скрыть историю его рождения, несчастный сын обнаружил, что признается всеми как брат Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета; обнаружил, что Король-отец, которого он по наущению матери ненавидел всем сердцем, относится к нему с любовью; обнаружил вдруг, что его, человека изуродованного, умного и критически настроенного окружает цивилизация, слишком прямолинейная для чисто интеллектуального критицизма; и, наконец, он обнаружил, что является

наследником северной культуры, всегда противопоставлявшей себя  
ограниченной морали южан.

В дверях галереи возник паж, тот, что уже приносил Агравейну вино. С преувеличенной вежливостью, ожидаемой от пажей, желающих стать оруженосцами, а после и рыцарями, он склонился в низком поклоне и объявил:

— Сэр Гавейн, сэр Гахерис, сэр Гарет.

Следом вошли трое братьев, громогласных после свежего воздуха и недавних упражнений, — теперь весь клан был в сборе. У всех у них, кроме Мордредра, имелось где-то в глуши по жене, но никто этих жен не видел. Да и самих-то Оркнейцев мало кому случалось в течение долгого времени видеть поодиночке. Когда они собирались все вместе, в них проступало что-то детское, скорее даже приятное, чем наоборот. Возможно, нечто детское было присуще и всем остальным паладинам, упоминаемым в истории Артура, — если простота и детскость это одно и то же.

Первым вошел глава семейства, Гавейн, неся на кулаке самку сокола, голову которой украшал молодой хохолок. Гавейн стал грузен, в рыжей шевелюре его появились поблекшие пряди. Волосы на висках пожелтели, как у хорька, еще немного и они совсем побелеют. Гахерис приобрел сходство с Гавейном, во всяком случае большее, чем у всех остальных. Но копия вышла бледная: не такой рыжий, не такой мощный, не такой крупный и не такой упрямый. Правду сказать, был он малость глуповат. Гарет, самый младший в четверке родных братьев, до сих пор не утратил юношеского обличил. Походка его оставалась упругой — такой, словно ему нравилось ощущать себя живым.

— Ишь ты! — хрипло воскликнул Гавейн, переступая порог. — Уже пьете?

Он еще сохранял чужеземный выговор в знак пренебрежения к языку англичан, но думать по-гаэльски уже перестал. Вопреки воле Гавейна, английский язык его становился все совершеннее. Гавейн старел.

— Да ладно тебе, Гавейн.

Агравейн, знавший, что его привычка пропускать рюмочку-другую еще до полудня одобрения не вызывает, вежливо осведомился:

— Хороший выпал денек?

— Недурственный.

— Превосходный! — воскликнул Гарет. — Мы упражнялись в напуске верхом с помощью Ланселотова слетника, и она по-настоящему

освирепела. Я и не думал, что она сумеет взять добычу без притравы! Гавейн управлялся с ней просто великолепно. Она пошла вниз, не помедлив и секунды, словно всю жизнь только и делала, что била сверху цапель, описала отличный круг над свежими стогами у Белого Замка и ушла над ним аккуратно на южную сторону дороги пилигримов. Она...

Гавейн, заметивший, что Мордред намеренно зевает, оборвал Гарета:

— Побереги дыхание.

— Хорошая вышла охота, — неловко заключил Гарет. — И поскольку она взяла добычу, мы решили, что можно дать ей имя.

— И какое же? — снисходительно поинтересовались двое.

— Ну, раз она родом с Лёнди, а стало быть, имя должно начинаться на Л, мы решили, что неплохо будет назвать ее в честь Ланселота. Например, Ланселотта или что-нибудь наподобие этого. Из нее получится первоклассная ловчая птица.

Агравейн взглянул на Гарета из-под приспущенных век и сказал, растягивая слова:

— Тогда уж лучше пусть будет Гвен.

Гавейн, выходящий в дворик, чтобы усадить птицу на колодку, вернулся назад.

— Брось, — сказал он.

— Сожалею, если сказал неправду.

— Меня не заботит, правда это или неправда. Я только одно тебе говорю: попридержи язык.

— Гавейн, — сказал Мордред, возводя глаза горе, — Гавейн у нас такой *preux chevalier*, что при нем дурных речей не держи, не то нарвешься на неприятности. Он, понимаешь ли, очень сильный и во всем подражает сэру Ланселоту.

Рыжий рыцарь с достоинством повернулся к нему.

— Не такой уж я и сильный и вовсе этим не пользуюсь. Я только стараюсь держать своих родичей в достойном виде.

— И разумеется, — подхватил Агравейн, — спать с женой Короля — самое достойное дело, даже если Королевская семья порушила нашу и заделала нашей матери сына, а после пыталась его утопить.

Гахерис возразил:

— Артур всегда был к нам добр. Прекратил бы ты лучше это ныть!

— Был, потому что он нас боится.

— Не вижу я, чего Артуру бояться, когда у него есть Ланселот, — сказал Гарет. — Всякому ведомо, что он — лучший из рыцарей мира и способен одолеть кого угодно. Так ведь, Гавейн?

— Что до меня, я и говорить-то об этом не желаю.

Мордред вдруг вспыхнул, распаленный высокомерным тоном Гавейна.

— Ну и отлично, зато я желаю. Я, может, и слабоват в копейном бою, но у меня хватит смелости встать на защиту моей семьи и ее прав. Я не лицемер. Каждый при дворе знает, что Королева и главнокомандующий — любовники, и однако же предполагается, что все мы — честные рыцари, защитники дам, и все только об одном и талдычат — о так называемом Святом Граале. Мы с Агравейном решили прямо сейчас отправиться к Артуру и в присутствии двора открыто задать ему вопрос о Королеве и Ланселоте.

— Мордред, — воскликнул глава клана, — ничего такого ты делать не станешь! Грех тебе!

— Еще как станет, — сказал Агравейн, — и я с ним пойду.

Гарет испытывал изумление и боль.

— Они и впрямь решились на это, — протестующе вымолвил он.

Справясь с минутной оторопью, Гавейн взял бразды правления в свои руки и твердо произнес:

— Агравейн, во главе клана стою я, и я тебе запрещаю.

— Ах, ты мне запрещаешь!

— Да, я запрещаю тебе, ибо ты будешь обидчивым дурнем, если сделаешь это.

— Честный Гавейн, — обронил Мордред, — считает тебя обидчивым дурнем.

На сей раз огромный рыцарь, словно норовистый конь, рванулся к Мордреду.

— Помалкивай! — рявкнул он. — Ты думаешь, что я тебя из-за твоего убожества пальцем не трону, и пользуешься этим. Но если ты, дохляк, будешь тут скалиться, так я тебе врежу!

Мордред услышал, как его собственный голос, казалось, доносившийся откуда-то сзади, холодно произносит:

— Гавейн, ты меня удивил. Ты произнес логически связную речь.

И затем, когда рыцарь-гигант пошел на него, тот же голос сказал:

— Ну, давай. Ударь меня. Покажи, какой ты храбрый.

— Ой, да перестань же ты, Мордред, — взмолился Гарет. — Ты что, и минуту не можешь не задираться?

— Мордред не стал бы, как ты выражаешься, задираться, — встрял Агравейн, — если бы Гавейн его не запугивал.

Гавейн взорвался, будто одна из недавно выдуманных пушек. Как затравленный собаками бык, он отворотил от Мордред и заорал на обоих.

— Да дьявол задери мою душу, или умолкните, или выметайтесь отсюда! Будет у нас когда-нибудь мир в семье? Захлопни, во имя Господа, пасть и оставь эту идиотскую болтовню про сэра Ланселота.

— Это не идиотская болтовня, — сказал Мордред, — и мы ее не оставим.

Он встал.

— Ну что, Агравейн, — спросил он, — пошли к Королю? Кто еще с нами?

Гавейн встал у них на пути.

— Ты никуда не пойдешь, Мордред.

— И кто меня остановит?

— Я.

— Да ты храбрец, — отметил ледяной голос, так и звучащий откуда-то со стороны, и горбун сделал шаг вперед.

Гавейн выставил рыжую руку с золотистыми волосками на пальцах и толкнул Мордреда назад. В тот же миг Агравейн положил белую ладонь с толстыми пальцами на рукоять своего меча.

— Не двигайся Гавейн. Я при мече.

— Ты всегда при мече, — выкрикнул Гарет, — дьявол!

Вся жизнь младшего брата вдруг сошлась в знакомую картину. Убитая мать, единорог, человек, в это мгновение вытаскивающий меч, и мальчишка, размахивающий посреди темной кладовки ярким кинжалом, — все слилось в его крике.

— Ну что же, Гарет, — прорычал белый, как полотно, Агравейн, — я понял тебя, смотри, я вынимаю меч.

Ситуация вышла из-под контроля: они уже действовали, будто марионетки, будто все это происходило не в первый раз, — как оно, впрочем, и было. Гавейном, едва он завидел сталь, овладела привычная слепая ярость. Изрыгая потоки слов, он отскочил от Мордреда, выхватил единственное свое оружие, охотничий нож, и кинулся на Агравейна, — все это одним махом. Толстяк, которого напор братнина гнева вынудил перейти от наступления к обороне, отшатнулся, заслоняясь мечом, пляшущим в дрожащей руке.

— А-а, — ревел Гавейн, — ты отлично понял его, мой тощий мясник. Как нам не полезть с мечом на собственного брата, мы же всегда так любили убивать безоружных людей. Чтоб тебя саваном удавило! Спрячь меч, ты! Спрячь, говорю! Ты что это надумал? Мало тебе, что ты зарезал нашу мать? Спрячь меч, будь ты проклят, или наберись наглости и ударь. Агравейн...



Мордред, держа ладонь на собственном кинжале, скользнул Гавейну за спину. Миг, и сталь, освещенная глазами филина, блеснула среди теней галереи, и тут же Гарет бросился на защиту Гавейна. Поймав запястье Мордреда, он закричал:

— Хватит! Гахерис, займись остальными!

— Агравейн, убери меч! Гавейн, оставь его!

— С дороги! Я научу этого пса уму-разуму!

— Агравейн, опусти немедленно меч, он же убьет тебя! Поторопись! Не будь идиотом! Оставь его, Гавейн. Он не хотел. Гавейн! Агравейн!

Но Агравейн, целя в главу семейства, уже сделал слабенький выпад, который Гавейн презрительно отмахнул ножом. И сразу огромный старый рыцарь с хорьковой шерстью на висках устремился вперед и стиснул ручищами Агравейнову поясицу. Меч еще звенел на полу, а Агравейн уже грянул спиной о стол, на котором стояло вино, и Гавейн навалился на него сверху. Нож яростно взлетел вверх, норовя сделать свое, но подскочивший сзади Гахерис поймал его в полете. Образовалась немая и неподвижная живая картина. Гарет держал Мордреда. Агравейн, свободной рукой прикрывая глаза, пытался увернуться от ножа. А Гахерис удерживал мстительно занесенную руку.

В эту непростую минуту дверь галереи отворилась вторично, и вежливый паж со всегдашним бесстрашием провозгласил:

— Его Величество Король!

Напряжение спало. Каждый выпустил, что держал, и снова пришел в движение. Агравейн, задыхаясь, сел. Гавейн отвернулся от него и провел рукой по лицу.

— О Господи! — пробормотал он. — Опять на меня накатила эта мутная дрянь!

На пороге показался Король.

Он вступил в галерею — спокойный старик, так долго трудившийся, напрягая все силы. Он выглядел старше своих лет, ныне уже немалых. В мгновение королевского ока он уяснил происшедшее и, пересекая галерею, чтобы ласково поцеловать Мордреда, улыбнулся всем сразу.

Ланселот с Гвиневерой сидели у окна башенного покоя. Человек нашего времени, знакомый с Артуровской легендой лишь благодаря Теннисону и подобным ему, поразился бы, увидев прославленных любовников теперь, когда пора расцвета для них давно уже миновала. Любой из нас, с привычной легкостью строящих представление о любви на романтической истории двух детей, Ромео и Джульетты, немало бы изумился, доведись ему вернуться в Средневековье, в эпоху, когда один из поэтов рыцарства писал о мужчине, что у него есть «en ciel un dieu, par terre une deesse <sup>[2]</sup>». В те времена влюбленных набирали не из подростков и юношей, но из людей поживших, понимающих что к чему. В ту пору люди любили друг друга так долго, как жили, не прибегая к удобным выдумкам вроде бракоразводных судов и психоаналитиков. У этих людей был Бог в небесах, а на земле богиня, — и поскольку человеку, который вручает всю свою жизнь богине, поневоле приходится проявлять в выборе ее некоторую осторожность, они искали себе богинь, основываясь не на преходящих, исключительно плотских критериях, и не покидали своих избранниц играючи, едва только плоть переставала оправдывать их ожидания.

Ланселот с Гвиневерой сидели у окна высокой крепостной башни, а внизу под пологими солнечными лучами лежала Англия Короля Артура.

То была Страна Волшебства эпохи Средневековья, эпохи, которую многие привычно считают «темной», и именно Артур превратил эту страну в то, чем она стала. Когда старый Король взошел на трон, она была Англией закованных в доспехи баронов, голодного мора и войн. Она была страной, в которой судья устанавливал истину «Божьим судом» то есть каленым железом, в которой законы для англичан и норманнов были различны, в которой звучал печальный бессловесный напев Морфа-Руддлана. В ту пору на всем побережье, куда только достигали ладьи иноземцев, не осталось в живых ни единого зверя и ни единого плодового дерева в целости. В ту пору по лесам и болотам остатки саксов сражались, противясь жестокому игу Утера Завоевателя; в ту пору слова «норманн» и «барон» означали то же самое, что ныне «сахиб»; в ту пору голова Ллевеллина ап Гриффита в короне из побегов плюща плесневела на тесно торчавших из стен Тауэра пиках; в ту пору вы могли повстречать при дороге калек-побирушек, из коих каждый тащил в левой руке свою же правую, и с ними лесных псов, тоже изуродованных, ковыляющих на трех

лапах, — дабы неповадно было им охотиться в лесных угодьях своего господина. К приходу Артура сельские жители уже по привычке каждую ночь баррикадировались в собственных домах, как бы в ожидании осады, и просить у Бога мирной ночи, — глава семьи повторял молитвы, возносимые в открытом море при приближении шторма и завершавшиеся мольбой: «Господи, спаси и помилуй», на что все присутствующие отвечали «Аминь». В те ранние дни в баронском замке можно было видеть горемык с выпотрошенными животами, чьи кровоточащие внутренности поджаривали у них на глазах, людей, распоротых, дабы выяснить, не проглотили ли они свое золото, людей с забитыми в рот зазубренными железными клиньями, людей, подвешенных вниз головой над чадными очагами, людей, брошенных в змеиную яму, людей, чьи головы стягивали кожаные жгуты, людей, втиснутых в короба, набитые камнями, сокрушавшими несчастным кости. Достаточно обратиться к посвященной тому времени литературе, повествующей о мифологических семействах вроде Плантагенетов, Капетов и прочих, чтобы понять, что творилось в этой стране. Легендарные короли, подобные Иоанну, имели обыкновение вешать перед обедом по двадцать восемь заложников; тогда как королей вроде Филиппа оберегали «сержанты-булавоносцы» — подобие штурмовиков, охранявших своего господина с кистенями в руках; короли же вроде Людовика рубили врагам головы на эшафотах, под которыми они заставляли стоять вражьи детишек, дабы кровь родителей капала им на головы. Так, во всяком случае, уверял нас Ингульф Кройлендский, покамест не выяснилось, что все его писания — сплошная подделка. Затем имелись еще архиепископы, которых называли «шкуродерами»; и церкви использовали в качестве укрепленных фортов, роя окопы прямо по кладбищам, среди мертвых костей; и существовали прейскурранты, по которым всякий мог откупиться от ответственности за любое убийство; и тела отлученных валялись непогребенными; и оголодавшие крестьяне кормились древесной корой, а то и друг другом (один такой съел сорок восемь человек). По одну сторону от вас могли поджаривать еретиков (сорок пять тамплиеров сожгли за один только день), а по другую — катапультами закидывать в осажденные крепости головы пленников. Тут извивался в цепях вождь Жакерии, коронованный раскаленным докрасна железным треножником. Там возносил жалобы Папа, сидящий в узилище в ожидании выкупа, или корчился другой, отведавший яду. В стены замков замуровывались в виде золотых брусков целые сокровища, после чего строителей отправляли на тот свет. Дети играли на улицах Парижа трупом Коннетабля, другие же — вместе с женщинами и стариками, — оказавшись

в кольце осады, хоть и вне стен осажденного города, умирали голодной смертью. С шипением горели привязанные к столбам Гус и Иероним в митрах вероотступников на головах. Плыли вниз по Сене слабоумные из Жумьежа с перерезанными подколенными жилами. В замке Жиля де Рец обнаружили не менее тонны пережженных детских костей — он убивал по двенадцать дюжин детей в год, и так целых девять лет. Герцог Беррийский лишился королевства по причине непопулярности, которую он заработал, опечалась при известии о павших в сражении восьмистах пехотинцах. Юного графа Сен-Поль обучали искусству боя, предоставляя ему две дюжины живых узников, дабы он попрактиковался на них в различных способах убийства. Людовик Одиннадцатый, еще один выдуманный король, держал неприятных ему епископов в довольно дорогостоящих клетках. Герцог Роберт был прозван «Великолепным» своими вельможами и «Дьяволом» теми из верующих, кому привелось пожить под его рукой. И во все это время, до прихода Артура, простые люди, — из коих в одном только городе всего за неделю волки сожрали четырнадцать человек, коих третью часть унесла Черная Смерть <sup>[3]</sup>, чьи трупы набивали в ямы «наподобие бекона», чьим ночным убежищем часто становились леса, болота и пещеры, коих за семьдесят лет сорок восемь раз косило голодным мором, — эти самые люди с благоговением взирали на высокородных феодальных властителей, именуемых «господами неба и земли», а будучи изувеченными каким-нибудь епископом, коему пролитие крови было заказано, по которой причине он ходил на них с железной дубиной, громко пеняли на то, что Христос и его святые спят в небесах.

«Pourquoi», — в отчаянии пели бедняги:

Pourquoi nous laisser faire dommage? Nous sommes hommes comme ils sont. <sup>[4]</sup>

Такова была на удивление современная цивилизация, доставшаяся Артуру в наследство. Но не она открывалась взорам наших любовников. Ныне, освещенная яблочно-зеленой вечерней зарей, перед ними расстилалась баснословная Старая Англия Средневековья — той его поры, когда оно вовсе не было темным. В Англии, созерцаемой Ланселотом и Гвиневерой, стоял Век Индивидуальностей.

Что за чудное время — эпоха рыцарства! Каждый был собой и только собой, ревностно воплощая бесчисленные странности человеческой природы. Лежавший под окнами башенного покоя ландшафт переполняло такое буйство людей и предметов, что и не знаешь, с какого конца взяться за его описание.

Темное Средневековье! Удивительна все-таки бесцеремонность, с какой девятнадцатый век наклеивал свои ярлыки. Ибо здесь, под этими окнами, в Артуровой Стране Волшебства, солнце пылало сотнями самоцветов в витражах монастырей и обителей, переливаясь на шпицах соборов и замков, возведенных с неподдельной любовью. В ту темную пору архитектура таким светом озаряла страстные души людей, что они наделяли свои крепости любовными прозвищами. Ланселотов Замок Веселой Стражи вовсе не был чем-то исключительным в пору, которая оставила нам Ботэ, Плезанс или Мальвозин, — дурных соседей своим врагам, — в пору, когда даже остолоп наподобие воображаемого Ричарда Львиное Сердце, страдавшего, кстати сказать, от чирьев, мог назвать свою крепость «Gaillard», сиречь «Молодчага», и говорить о ней, «моя годовалая красавица-дочка». Да что там, даже такой легендарный прохвост, как Вильгельм Завоеватель, и тот носил титул «Великого Строителя». А возьмите хотя бы стекло, окрашенное на всю глубину в пять благородных тонов. Стекло было грубее нашего, толще, вставлялось не такими большими, как ныне, пластинами. Люди той поры любили его с той же страстью, с какой давали имена своим замкам, и Виллар де Оннекур, потрясенный во время путешествия особенной красотой одного из окон, остановился, чтобы зарисовать его, пояснив, что «я находился в пути, подчиняясь зову, пришедшему из земли Венгерской, когда зарисовал это окно, поскольку оно усладило меня более всех иных окон». Вообразите себе внутреннее убранство старинных соборов — не привычный для нас интерьер, серый и голый, но сверкание красок, фрески, писанные по сырой штукатурке, на которых все персонажи стоят на цыпочках, колыхание гобеленов или багдадской парчи. Вообразите и интерьеры тех замков, что виднелись из окна Гвиневеры. Они не походили уже на угрюмые цитадели предшественников Артура. Теперь в них стояла мебель, сработанная столяром, а не плотником; по стенам, скрывая двери, мягко спадали нарядные ткани Арраса, гобелены, подобные тому, на котором изображен турнир в Сен-Дени, и который, хоть и покрывает он более четырех сотен квадратных ярдов, был соткан менее чем за три года, — такое рвение снедало его творцов. Даже сегодня, внимательно осмотревшись в разрушенном замке, можно порой обнаружить крючья, с которых свисали эти ослепительные шпалеры. Вспомните еще о златокузнецах Лотарингии, создававших раки для мощей в виде маленьких храмов с боковыми приделами, статуями, трансептами и всем прочим, совершенные кукольные домики; вспомните лиможские и выемчатые эмали, немецкую резьбу по кости, ирландскую работу по металлу, инкрустированную гранатами.

Наконец, если вам и впрямь хочется представить себе брожение творческого начала в эти наши пресловутые темные века, прежде всего избавьтесь от представления, будто письменная культура пришла в Европу лишь после падения Константинополя. В те дни каждый клирик в каждой стране был человеком культурным, ибо в этом и состояла его профессия. «Каждая написанная буква, — говорил средневековый аббат, — это рана, нанесенная дьяволу». Библиотека Сен-Рикье уже в девятом веке содержала двести пятьдесят шесть томов, включая Вергилия, Цицерона, Теренция и Макробия. У Карла Пятого имелось не менее девятисот десяти книг, так что личная его коллекция была почти столь же обширной, как нынешняя «Всеобщая Библиотека».

Ну и наконец, сами люди, видные из окна, — блестящее сборище разного рода оригиналов, каждый из которых сознавал, что обладает помимо тела такой изумительной вещью, как душа, и выявлял ее на свой, порою удивительнейший манер. В лице Сильвестра Второго на папский престол взошел прославленный чернокнижник, хоть и ходила о нем дурная молва, будто бы именно он изобрел маятниковые часы. Баснословный Король Франции по имени Роберт, на свою беду отлученный от церкви, испытал ужасные затруднения в домашнем обиходе, поскольку единственная пара слуг, которых удалось уговорить стряпать для него, поставила условием, чтобы после каждой трапезы все причастные к ней кастрюли бросались в огонь. Архиепископ Кентерберийский, отлучивший под горячую руку сразу всех пребендариев собора Святого Павла, ворвался в Приорию Святого Варфоломея и прямо посреди храма вышиб дух из субприора, чем вызвал такие волнения, что на нем разодрали священническое облачение (под которым, впрочем, оказались доспехи), а самому ему пришлось лодкой удирать в Лэмбит. Графиня Анжуйская имела обыкновение при свершении таинства мессы исчезать сквозь окно. Мадам Трот де Салерно использовала собственные уши в качестве носовых платков, а брови ее свисали до самых плеч, будто серебряные цепочки. Епископа Батского (дело было при воображаемом Эдуарде Первом) по здравом размышлении сочли неподходящим для архиепископского поста по той причине, что у него было слишком много незаконнорожденных детей — не просто несколько штук, а слишком много. Но и сам этот епископ навряд ли мог потягаться с графиней Геннебергской, которая взяла да и родила за один присест триста шестьдесят пять младенцев.

То был век полноты, век, когда человек во всякое дело нырял с головой. Возможно, и насаждаемая Артуром идея христианского мира возникла как результат всестороннего образования, которое дал ему

Мерлин.

Ибо Король, по крайней мере в истолковании Мэлори, являлся святым покровителем рыцарства. Он не был рассерженным Бриттом в раскраске из вайды, мечущимся по пятому веку, — ни даже одним из тех *nouveaux riches de la Poles*, которые, по-видимому, омрачили последние годы самого Мэлори. Артур был сердцем рыцарства, достигшего расцвета — столетия, может быть, за два до того, как наш не чающий души в старине автор приступил к своему труду. Он был олицетворением всего, что имелось достойного в Средневековье, и все, что он олицетворял, было создано им самим.

В представлении Мэлори, Артур Английский — это поборник цивилизации, совершенно неправильно толкуемой историческими трудами. В эпоху рыцарства серв вовсе не был рабом, лишенным всякой надежды. Напротив, у него имелось по меньшей мере три вполне законных пути для восхождения по ступеням общественной лестницы, и превосходнейший из этих путей предоставляла ему Католическая Церковь. Благодаря политике Артура, церковь эта, и поныне являющаяся величайшим из всех сообществ, открытых для образованных людей, обратилась в столбовую дорожку, доступную наинизшему из рабов. Сакс-землепашец превратился в Папу Адриана IV, сын плотника — в Григория VII. В эти столь презируемые нами Средние Века вы могли стать великим человеком, почитаемым во всем мире, просто дав себе труд учиться. Убеждение же, что цивилизация Артура отставала по части столь уважаемой нами науки, совершенно ошибочно. Ученые того времени, хоть и называли их магами, изобретали вещи невероятные, ничуть не худшие наших, — просто мы так давно пользуемся их открытиями, что уже к ним попривыкли. Величайшие среди магов — Альбертус Магнус, брат Бэкон и Раймонд Луллий — ведали кое-какие тайны, утраченные ныне, и между делом выдумали то, что и по сей день является для цивилизации едва ли не основным продуктом потребления, а именно порох. Их чтили за ученость, а Альберта Великого и вовсе произвели в епископы. Один из них, человек по имени Баптиста Порта, судя по всему, изобрел даже кинематограф — да притом оказался настолько разумен, что решил оставить это изобретение без дальнейшего развития.

Что до самолетов, то еще в десятом веке монах по имени Этельмайер экспериментировал с ними и вполне мог преуспеть, кабы не несчастная оплошность, допущенная при креплении хвостового узла. Он разбился: «*quod, — говорит Вильям Мальмсберийский, — caudam in posteriori parte oblitus fuerat adaptare*».

Даже в том, что представляется нам до крайности современным, темные века не так уж и сильно от нас отстают. Во всяком случае, люди той поры давали замечательные названия некоторым из самых зверских своих коктейлей, к примеру: «Задира», «Бешеный Пес», «Отче-Шлюхин Сын», «Ангельская Снедь», «Млеко Дракона», «Лезь-на-Стену», «Шире Шаг» и «Ноги Вверх».

Вид из окна открывался прелестный, хоть отчасти и непривычный. Там, где у нас лежат разгороженные поля и парки, у них располагались крестьянские общинные земли, вересковые пустоши, огромных размеров леса и болота. Шервудский лес тянулся на сотни миль от Ноттингема до самого Йорка. Население трудолюбиво занималось бортничеством, распугивало грачей, пахало на волах, — тут вам придется заглянуть в «Люттереллов Псалтырь», замечательно изображающий эти занятия. В те дни, если вас интересовали разного рода странности, вы могли бы, при определенном везении, увидеть из окна скачущего мимо рыцаря. Ваше внимание наверняка привлекла бы его голова, обритая вокруг ушей и на затылке, — на макушке, однако, волосы торчали вверх, как у японской куклы, так что в целом голова походила на деревенский каравай с солонкой наверху. Этот пук волос, да еще прикрытый шлемом, отменно гасил удар. Следом, возможно, проехал бы (и вероятно, на иноходце) клирик, — у него с волосами дело обстояло в точности наоборот, ибо его макушка благодаря тонзуре была совершенно голой. Когда он в первый раз являлся к епископу, чтобы тот возвел его в сан, он приносил с собой ножницы. Затем, если бы вам захотелось увидеть какого-нибудь совсем уже удивительного всадника, вы могли бы дожждаться крестоносца, поклявшегося освободить Гроб Господень. Вы, разумеется, ожидали бы увидеть крест на его накидке, но вряд ли вам могло прийти в голову, что он поместит этот символ практически везде, где только сможет, — до того ему было любо избранное им занятие. Подобно новопосвященному бойскауту, охваченному энтузиазмом, он лепил крест и на щит своего герба, и на кафтан, и на шлем, и на седло, и на конскую узду. Следующим проезжим мог оказаться какой-нибудь мирской брат, принадлежащий к одному из цистерцианских орденов, и по его одеянию вы определенно решили бы, что он — человек ученый. Увы, он-то как раз и был неграмотен *ex officio*<sup>[5]</sup>. Вся его служба состояла в наложении свинцовых печатей на папские буллы, и ради сохранения тайны папской переписки на эти должности набирали людей надежных, таких, что и буквы прочесть не сумеют. Следом мог объявиться сакс — при бороде и в подобии фригийского колпака, носимого в знак непокорства, следом — рыцарь из болот, что на северной границе. Последний, поскольку



он жил ночным разбоем, мог изукрасить свои одежды, запустив месяц и звезды по лазурному фону. В какой-то части пейзажа вы могли бы заметить дымок, возносящийся над мехами алхимика, пытавшегося, с похвальным прилежанием, обратить свинец в золото, — искусство, недоступное нам и поныне, хотя мы уже подбираемся к нему посредством атомного синтеза. Дальше, в окрестностях монастыря, вы, пожалуй, смогли бы различить сердитых монахов, босиком марширующих вокруг своей обители, — они, надо полагать, разругались с аббатом, ибо, насылая на него порчу, двигались против солнца. Теперь взгляните вон в том направлении, видите, там виноградник с оградой из костей, — в начале правления Артура удалось совершить открытие, согласно которому из костей получают превосходные ограды для виноградников, погостов и даже для укрепленных фортов, — а если вы посмотрите вон туда, вам, быть может, удастся разглядеть ворота замка, сильно похожие на выставку охотничьих трофеев. Ворота сплошь покрывали прибитые к ним головы волков, медведей, оленей, ну и так далее. А там, вдали, чуть левее, вполне мог протекать — в соответствии с правилами, изложенными Жоффруа де Прейи, — рыцарский турнир, и королевские герольды тщательно, словно рефери перед боксерским матчем, осматривали бойцов, проверяя, не прикрепились ли они как-нибудь к седлам. Во времена предполагаемого короля Эдуарда III такие вот рефери перед самым началом судебного поединка, имевшего состояться между неким графом Солсберийским и Солсберийским же епископом, обнаружили, что под доспехами у бойца, выступавшего за епископа, по всему телу нашиты на одежду молитвы и волшебные заклинания. — а это было все равно что боксеру засунуть в перчатку конскую подкову. Прямо под самым окном могла угрюмо проехать верхами пара мучимых запором папских нунциев, возвращающихся в Рим. Одна такая пара была как-то послана к Варнаве Висконти с буллами, в которых он отлучался от церкви, Варнава же лишь заставил их съесть привезенные буллы — пергаменты, ленты, свинцовые печати и все остальное. Сразу за ними мог проплестись под окном пилигрим-наемник, опираясь на крепкий узловатый посох, подбитый железом, как альпеншток, и сгибаясь под бременем медалей, на коих почиет благодать, святых реликвий, черепков с таинственными надписями, нерукотворных ликов и тому подобного. Сам себя он именовал паломником и, если ему уже удалось вдоволь постранствовать, реликвии его могли включать перо Архангела Гавриила, несколько углей из тех, на которых поджарили Св. Лаврентия, палец Святого Духа — «целый и крепкий, каким и был он веками», «сосуд с потом Св. Михаила, собранным после его борений с

диаволом», малую часть «куста, из коего Господь воззвал к Моисею», камзол Св. Петра или же толику молока Пресвятой Девы, что сохраняется в Уолсингеме. За паломником могла крадучись проследовать личность несколько более греховная — один из тех, кто «днем спит, ночью же бдит, ест хорошо и пьет хорошо, но именем не владеет». Это мог быть грабитель, о подобных коему в ту пору писали:

А для воров закон таков: хватай и вяжи лиходея, И без жалости вешай на крепком суку,

и пусть его ветер греет.

Но до того, как закачаться на ветру, он еще поживет свободной жизнью. Его подруга твердо ступает с ним рядом, и за ее голову также обещана награда, — она коротко остригла волосы перед тем, как уйти в леса, и зовется «разбойничьей жenkой». Время от времени она оглядывается, — не кричат ли уже позади «держи вора!», не видать ли погони.

Здесь мог появиться барон, перед которым несут с осторожностью горячий пирог, ибо один раз в году он обязан приносить такой пирог Королю, дабы Король Артур понюхал его, принимая запах в виде уплаты ленной повинности. Мог показаться и другой барон, преследующий с копьем наперевес какого-нибудь дракона, — бум! — и барон рушился наземь, а конь трусил себе дальше. Впрочем, если такое случалось, один из слуг тут же подводил ему своего коня и помогал взобраться на оногo, — как и мы в наши дни поступили бы с тем, кто возглавляет охоту, — ибо таков был феодальный закон. Далеко на севере, под уже выцветающим закатным небом, мог вдруг затеплиться свет в окне деревенского дома, где некая трудолюбивая ведьма не только вылепливала из воска фигурку человека, который не пришелся ей по душе, но даже подвергала фигурку обряду крещения, — момент безусловно важный, — прежде чем утыкать ее булавками. Кстати сказать, один из ее друзей-священников, впрочем, сменивший хозяина, с охотой служил зауспокойные мессы по любому, от кого вам желательно было избавиться, — и дойдя до слов «Requim aeternum dona ei, Domine»<sup>[6]</sup>, — выговаривал оные истово, хотя подразумеваемый человек был еще жив. Столь же далеко на востоке вы могли бы под тем же закатом увидеть Ингерранда де Мариньи, того самого, который построил огромную виселицу в Монфальконе, теперь и сам он, повинный в занятиях Черной Магией, клацая костями, догнивает на этой виселице. По дороге могли проскакать Герцоги — Беррийский с Бретонским — два достойных человека в похожих на стальные атласных кирасах. Эти двое не пожелали воспользоваться преимуществами, какие дают доспехи, и поскольку в

атласных одеждах было не так жарко, они решили ничем, кроме отваги, не отличаться от обыкновенных людей. Нечто подобное мог бы проделать и Ланселот. Над ними на склоне холма мог, оставаясь незамеченным, восседать Развеселый Уот с всегдашним своим туеском, наполненным дегтем. Он представлял собой типичнейшую фигуру Страны Волшебства, деготь же предназначался для овец — это был антисептик. Если бы вы сказали ему: «У нас тут всяк сам себе барин», — он бы согласился с вами немедленно, ибо он-то эту поговорку и выдумал, а уж мы ее после переиначили, заменив барана на барина.

Еще на большем расстоянии мог обнаружиться банкрот, нещадно секомый на каком-нибудь из торжищ Московии, — не от плохого к нему отношения, но по причине жгучей надежды, что если он будет вопить достаточно громко, кто-нибудь из его друзей либо родичей, стоящих в толпе, проникнется состраданием и уплатит его долги. Далее к югу, в сторону Средиземноморского бассейна, вы могли бы увидеть моряка, караемого, согласно закону Ричарда Львиное Сердце, за пристрастие к азартной игре. Кара заключалась в том, что моряка три раза бросали с грот-мачты в море, и всякий раз, что он плюхался в воду, товарищи его ободрительно вопили «ура». А на рынке прямо под вами вполне могло совершаться третье затейливое наказание. Виноторговца, коего товар оказывался дурного качества, привязывали к позорному столбу и принуждали выпить непомерное количество его же собственного вина, а все оставшееся выливали ему на голову. И как же болела назавтра бедная голова! Посмотрев вон в ту сторону, вы могли бы, если у вас достаточно широкие взгляды, получить удовольствие, наблюдая за разухабистой Алисой, наградившей ухажера удивительным поцелуем, как о том сообщает Чосер. Посмотрев же в эту сторону, вы обнаружили бы отчаявшегося Мельника и его семейство, пытающееся разобраться в светопреставлении, случившемся прошлой ночью в их доме из-за сдвинутой с ее места колыбели, о чем повествует в своем рассказе Мажордом. На игровой площадке вон той монастырской школы несколько школяров со священным трепетом разглядывают своего одноклассника, коему хватило находчивости и удачи наповал уложить из новомодной пушки Графа Солсберийского. И может быть, рядом с площадкой в вечернем свете роняют лепестки цветущие сливы, появившиеся, подобно Мерлиновой шелковице, совсем недавно. Другой мальчуган, на сей раз четырехлетний король Шотландии, с грустью вручает своей няньке королевский рескрипт, позволяющий ей шлепать короля без риска быть обвиненной в государственной измене. Весьма малопочтенного вида армия

— в сущности, организованная банда, привыкшая добывать себе пропитание мечом, — могла бродить от дверей к дверям, выпрашивая куски (участь, коей достойна всякая армия); а человеку, нашедшему убежище вон в той церкви, что к востоку отсюда, вполне могли оттяпать ногу, высуну он ее на полшага за дверь. В том же самом пристанище вы обнаружили бы целое общество фальшивомонетчиков, воров, убийц и неисправных должников, которые в успокоительном уединении церкви, где никто их не арестует, старательно чеканили фальшивые деньги или острили ножи, приготовляясь к вечерней прогулке. Худшее, что могло приключиться с ними после того, как они здесь укрылись, — это изгнание из страны. В этом случае им пришлось бы пешком тащиться до Дувра, все время держась середины дороги и сжимая распятие, — если они хоть на миг выпускали его из рук, на них разрешалось напасть, — а добравшись туда, им надлежало, если корабля для них сразу не находилось, по горло зайти в воду, доказывая тем самым, что они взаправду стараются покинуть страну.

Известно ли вам, что в ту мрачную эпоху, которую мы изучаем, глядя в окно Гвиневры, людям доставало благопристойности, чтобы подчиняться Католической Церкви, когда она налагала запрет на любые военные действия, — этот запрет назывался Божиим Перемирием, а длилось оно с пятницы до Понедельника, а равно во весь Рождественский и Великий Посты? Неужели вы полагаете, что эти люди с их битвами, голодом, Черной Смертью и рабством были менее просвещенными, нежели мы с нашими войнами, блокадами, гриппом и всеобщей воинской повинностью? Пусть они даже были настолько глупы, что верили, будто Земля является центром Вселенной, сами-то мы разве не верим, что человек — это цвет творения? Если рыбы потратили миллион лет на превращение в рептилий, так ли уж неузнаваемо переменялся Человек за несколько прожитых нами столетий?

Закат рыцарства, вот что наблюдали из башенного окна Ланселот с Гвиневерой. Силуэты их темных профилей долго оставались явственными на фоне меркнувшего неба. Профиль Ланселота, старого и страховидного, напоминал своими очертаниями профиль горгульи. Такой же лик, погруженный в ужасное созерцание, мог глядеть с собора Нотр-Дам, построенного при жизни Ланселота. Впрочем, лицо достигшего зрелости Ланселота исполнилось благородства, прежде ему несвойственного. Жуткие линии его углубились и успокоились, превратившись в складки, свидетельствующие о сиде. Подобно бульдогу, с которым природа обошлась хуже, чем с кем бы то ни было из собак, Ланселот обрел, наконец, лицо, внушающее доверие.

Самое трогательное состояло в том, что эти двое пели. Голоса их, уже не полнозвучные, как у людей в расцвете молодых сил, еще сохранили способность уверенно вести мелодию. Пусть даже и слабые, они оставались чистыми и поддерживали друг дружку.

Как месяц Май придет, (пел Ланселот) И солнце обольет Лучами день молодой, Уж мне не страшен бой.

— Когда, — пела Гвиневера, —

Когда небесный свод Вкруг солнце обойдет, Пускай приходит мгла, О ночь, ты мне мила.

— Но ах! — выпевали оба, —

Но ах! И день, и ночь, Уйдут когда-то прочь, И для души остылой Ничто не будет мило.

Маленький настольный орган издал неожиданную трель, они прервали пение, и Ланселот сказал:

— Хороший у тебя голос. Мой, боюсь, становится скрипучим.

— А ты бы пил поменьше.

— Ну, это уже нечестно! Да я со времен Грааля, считай, спиртного почти и в рот не беру.

— Я бы предпочла, чтобы ты и вовсе не пил.

— Что ж, значит, бросаю пить — даже воду. Вот умру у твоих ног от жажды, и Артур устроит мне роскошные похороны, а тебе никогда моей гибели не простит.

— Да, и я отправлюсь за мои грехи в монастырь и буду жить счастливо до скончания дней. Что мы теперь споем?

— Ничего, — сказал Ланселот. — Мне не хочется петь. Иди сюда, Дженни, сядь рядом со мной.

— Тебя что-то гнетет?

— Нет. Я в жизни не был так счастлив. Да, думаю, и не буду.

— Отчего же ты счастлив?

— Не знаю. Оттого, что весна все же пришла, а впереди у нас веселое лето. Руки у тебя опять потемнеют, вот здесь, наверху, кожа слегка зарумянится, и порозовеют скругленья локтей. Знаешь, что я больше всего люблю в твоих руках? Изгибы, — складки над локтями, к примеру.

Гвиневера уклонилась от этих чарующих комплиментов.

— Интересно, чем сейчас занят Артур?

— Артур навещает Гавейнов, а я говорю о твоих локтях.

— Я слышу.

— Дженни, я счастлив, оттого что ты распоряжаешься мной. Вот и все объяснение. Пристаешь ко мне, чтобы я пил поменьше. Мне нравится, что ты заботишься обо мне, говоришь, что я должен делать.

— По-моему, ты в этом нуждаешься.

— Нуждаюсь, — подтвердил он. И вдруг с внезапностью, удивившей обоих: — Можно, я сегодня приду?

— Нет.

— Почему?

— Ланс, ну что ты спрашиваешь! Ты же знаешь, Артур дома, это слишком опасно.

— Артур не против.

— Если Артур вынужден будет поймать нас, — рассудительно сказала она, — ему придется нас убить.

С этим он не согласился.

— Да Артур все про нас знает. Его и Мерлин предупреждал со всеми подробностями, и Моргана ле Фэй прислала ему два совершенно прозрачных намека, и потом еще эта история с сэром Мелиагрансом. Он никогда не станет ловить нас, если его не заставят.

— Ланселот, — сердито сказала она, — я не могу позволить тебе говорить об Артуре так, словно он какой-нибудь сводник.

— А я и не говорю о нем так. Он лучший мой друг, и я люблю его.

— Ну, значит, ты говоришь обо мне так, словно я еще и похуже.

— Вот именно так ты себя сейчас и ведешь.

— Очень хорошо! Если тебе нечего больше сказать, лучше уйди.

— Чтобы ты могла без помехи лечь с ним в постель, я так понимаю.

— Ланселот!

— Ах Дженни! — Он вскочил, легкий, как прежде, и поймал ее, не давая уйти. — Не сердись. Прости, если я обидел тебя.

— Убирайся! Оставь меня в покое!

Но Ланселот держал ее по-прежнему крепко, как человек, не дающий дикой зверушке вырваться и удрать.

— Не сердись. Прости. Ты ведь знаешь, я так не думаю.

— Животное ты все-таки.

— Нет. И я не животное, и ты не животное. Дженни, я буду тебя держать, пока ты не перестанешь злиться. Я сказал это, потому что почувствовал себя несчастным.

Ее голос, глухой и сдавленный, жалобно произнес:

— Только сию минуту ты говорил, что счастлив.

— Ну, говорил. И все равно я несчастен и весь свет мне не мил.

— Думаешь, только тебе одному?

— Нет, не думаю. Прости мне мои слова. Мне самому они радости не прибавили. Будь умницей, ладно? и не заставляй меня мучиться еще сильнее.

Гвиневера смягчилась. Годы умерили пылкость их прежних ссор.

— Ладно.

Но улыбка ее и податливость лишь заново разбередили его.

— Дженни, давай уедем отсюда вместе.

— Прошу тебя, не начинай все сначала.

— Не могу я не начинать, — отчаянно сказал он. — Я не знаю, что делать. Господи, это тянется всю нашу жизнь, но отчего-то весной всегда становится хуже. Ну почему тебе не уехать со мной в Веселую Стражу и не жить там в открытую?

— Ланс, отпусти меня и постарайся быть благоразумным. Ну-ка, садись, давай споем еще что-нибудь.

— Не хочу я петь.

— А я не хочу этих разговоров.

— Если ты уедешь со мной в Веселую Стражу, все наши мучения кончатся раз и навсегда. Мы сможем жить вместе, мы будем счастливы, нам не придется никого обманывать день за днем, и мы умрем с миром в душе.

— Ты же сам сказал, что Артур все знает о нас, — отвечала она, — и что мы вовсе его не обманываем.

— Да, но это другое дело. Я люблю Артура, и я не могу видеть, как он глядит на меня, и сознавать, что он все знает. Ты же понимаешь, Артур любит нас обоих.

— Но, Ланс, если ты так его любишь, как же ты убежишь с его женой?

— Я хочу, чтобы все было честно, — упрямо сказал он, — хотя бы под конец.

— Ну, а я этого не хочу.

— На самом-то деле, — его вновь обуял гнев, — ты просто хочешь иметь двух мужей. Женщинам всегда подавай все сразу.

Она терпеливо отвергла ссору.

— Не хочу я иметь двух мужей, и чувствую я себя так же скверно, как ты, — но что хорошего получится, если мы станем жить открыто? Нынешнее наше положение ужасно, но по крайней мере Артур знает об этом про себя, и нам можно любить друг друга и чувствовать себя в безопасности. А если я убегу с тобой, все рухнет. Артуру придется объявить тебе войну, осадить Веселую Стражу, и тогда один из вас погибнет, если не оба, и погибнут еще сотни людей, и никому от этого лучше не станет. Да и не хочу я покидать Артура. Когда я выходила за него замуж, я обещала оставаться с ним, и кроме того, я привязана к нему. Здесь я могу хотя бы заботиться о нем и помогать ему, даже если я люблю и тебя тоже. Не вижу я в этой твоей открытости смысла. Зачем нам делать Артура жалким в глазах всего света?

Ни он, ни она не заметили в густеющих сумерках, что пока она говорила, на пороге покоя появился Король. Сидя боком к окну, они почти не видели комнаты. Долю секунды Король простоял, собираясь с мыслями, витавшими далеко отсюда — погруженными в заботы об Оркнейцах или в иные дела государства. Он остановился в занавешенном проеме дверей, бледная длань его, отведшая в сторону гобелен, еле заметно блеснула в темноте перстнем с королевской печатью, затем, не задержавшись ни на миг, чтобы послушать их разговор, он выпустил ткань и отступил. Он отправился на поиски пажа, чтобы тот объявил о его появлении.

— Самое честное, — говорил Ланселот, скручивая зажатые между коленями руки, — самое честное для меня — это уехать и не возвращаться. Но если я еще раз сделаю такую попытку, разум мой больше не выдержит.

— Бедный мой Ланс, и что бы нам было не петь дальше! Теперь ты снова впадешь в тоску, и у тебя опять будет приступ. Почему мы не можем оставить все как есть, — пусть твой замечательный Бог сам обо всем позаботится. Есть ли смысл в потугах что-то делать или придумывать исходя из того, что вот это правильно, а это неправильно? Да не знаю я, что правильно, а что нет. Разве не можем мы довериться самим себе, делать, что делается, и уповать на лучшее?

— Ты его жена, а я его друг.

— Хорошо, — сказала она, — кто заставил нас полюбить друг друга?



— Дженни, я не знаю, что делать.

— Ну, и не делай ничего. Иди ко мне, поцелуй меня по-доброму, и Бог о нас позаботится.

— Милая!

На этот раз к ним поднялся по лестнице паж, громко топая, как оно водится у пажей, и неся с собой свечи. О свечах распорядился Артур.

Вокруг поспешно отпрянувших друг от друга любовников засветилась своими красками комната. По мере того, как мальчик зажигал свечи, из темноты проступало великолепие ее драпировок. Со всех четырех стен, струясь, стекали пестрящие цветами луга и полные птиц рощи Арраса. Дверная завеса снова приподнялась, и в комнату вошел Король.

Он выглядел старым, старше их обоих. Но то была благородная старость, исполненная уважения к себе. Даже и в наши дни можно порой повстречать человека шестидесяти или более лет, черноволосого и прямого, словно тростник. К этому разряду принадлежали и наши герои. Ланселот, теперь мы можем его как следует разглядеть, казался прямым олицетворением лучшего, что есть в людской природе, — человеком, у которого чувство ответственности стало почти фанатическим. Гвиневера, — и это могло бы, пожалуй, удивить тех, кто знал ее в пору, когда в душе ее бушевала буря, — выглядела мягкой и миловидной. Она едва ли не вызывала желание встать на ее защиту. Но из этих троих более всех трогал сердце Артур. Он был так просто одет, так мягок, так терпелив в обращении со своими скромными принадлежностями. Часто, когда Королева развлекала избранное общество в освещенной факелами Главной Зале, Ланселот находил Артура в маленькой комнатке, где тот сидел в одиночестве, штопая собственные чулки. Ныне он — в синей домашней мантии, синей, поскольку эта краска была в те дни весьма дорогой и предназначалась для королей, либо святых, либо ангелов на картинах, — ныне он, улыбаясь, стоял на пороге мерцающей комнаты.

— Привет, Ланс. Привет, Гвен.

Гвиневера, у которой еще не выровнялось дыхание, ответила на приветствие:

— Привет, Артур. Ты застал нас врасплох.

— Прости. Я только-только вернулся.

— Как там Гавейны? — спросил Ланселот тоном, который давно уже стал привычным и который ему так и не удалось сделать естественным.

— Когда я вошел, они дрались.

— Это на них похоже! — воскликнули Ланселот с Гвиневерой. — И что же ты сделал? Из-за чего они передрались?

Голоса их звучали так, словно речь шла о жизни и смерти, ибо собственное их состояние мешало им верно понять состояние Короля.

Король смотрел прямо перед собой.

— Я не спросил.

— Скорее всего, — сказала Королева, — какая-нибудь семейная история.

— Скорее всего.

— Надеюсь, никто не пострадал?

— Никто не пострадал.

— Ну и прекрасно, — вскричала она, сама заметив, что звучащее в ее восклицании облегчение выглядит нелепо, — выходит, что все хорошо.

— Да, выходит, что все хорошо.

Они заметили, как искрятся его глаза. Их встревоженность забавляла его, — стало быть, все в порядке.

— Ну-с, — сказал Король, — нам непременно нужно и дальше толковать о Гавейнах? Получу я наконец поцелуй от собственной жены?

— Дорогой.

Она потянулась к мужу и поцеловала его в лоб, думая о нем, как о старом и верном друге, — как о ручном медведе.

Ланселот поднялся.

— Мне, может быть, лучше уйти?

— Остайся, Ланс. Так приятно хоть немного побыть с вами наедине. Иди сюда: сядь к огню, спой нам песню. Скоро нам уже и огонь не понадобится.

— Да, — сказала Гвиневера. — Как странно, скоро уже лето.

— И все равно приятно посидеть у огня, — дома.

— Хорошо вам сидеть у себя дома, — странным тоном сказал Ланселот.

— О чем это ты?

— У меня-то дома нет.

— Не горюй, Ланс, еще будет. Подожди, пока доживешь до моих лет, а там уж и начинай тревожиться по этому поводу.

343

— Можно подумать, — сказала Королева, — что не каждая встречающая женщина гонится потом за тобой целую милю, а то и две.

— С ищейками, — добавил Артур.

— Да к тому же половина из них напрямик делает тебе предложение.

— И ты еще жалуешься, что у тебя дома нет. Ланселот рассмеялся, последний ледок напряжения был сломан.

— А ты, — спросил он, — женился бы на женщине, которая гоняется за тобою с ищейками?

Прежде чем ответить, Король серьезно обдумал вопрос.

— Я бы не смог, — сказал он наконец, — я, видишь ли, уже женат.

— На Гвен, — сказал Ланселот.

Странно. Казалось, они разговаривали уже не словами, но значениями, отличными от слов. Как муравьи, беседующие при посредстве антенн.

— На Королеве Гвиневере, — поправил его Король.

— Или на Дженни? — предположила Королева.

— Да, — согласился он, но лишь после долгой паузы, — или на Дженни.

Наступило еще более глубокое молчание, и в конце концов Ланселот снова встал.

— Ну ладно, мне нужно идти. Артур положил ладонь ему на руку.

— Нет, Ланс, останься на минуту. Я хочу кое-что рассказать Гвиневере сегодня и предпочел бы, чтобы и ты послушал. Мы столько времени прожили вместе. Я хочу исповедаться в одной давней истории, а ты как-никак один из членов нашей семьи.

Ланселот сел.

— Ну, вот и хорошо. Теперь дайте мне каждый руку, а я сяду между вами, вот так. Ну что же. Моя Королева и мой Ланс, и ни один из вас не укорит меня тем, что я собираюсь вам рассказать.

Ланселот с горечью произнес:

— Не нам укорять кого бы то ни было, Король.

— Да? Ну ладно, я не знаю, что ты имеешь в виду, но я хочу рассказать вам кое о чем, сделанном мной в молодости. Это еще до того, как я женился на Гвен, и задолго до твоего посвящения в рыцари. Вы согласны меня послушать?

— Конечно согласны, если тебе это нужно.

— Только мы не верим, будто ты сделал что-либо дурное.

— Собственно говоря, все началось еще до моего рождения, когда отец полюбил Графиню Корнуольскую и убил Графа, чтобы ее получить. Она была моей матерью. Эта часть истории вам известна.

— Да.

— Возможно, вы не знаете, что я родился не в самое удачное время. Слишком скоро после бракосочетания отца и матери. Потому-то они и скрыли мое рождение и еще в пеленках отослали меня к сэру Эктору, чтобы он меня вырастил. Сам Мерлин меня и отвез.

— А потом, — весело сказал Ланселот, — когда твой отец умер, тебя

привезли ко двору, и ты вытащил из камня волшебный меч и доказал, что ты — по праву рождения Король над всей землей Английской, и с той поры жил счастливо, и на том вся история и кончается. Я бы не назвал ее такой уж плохой.

— К сожалению, на этом она не кончается.

— Как это?

— Видите ли, дорогие мои, меня отобрали у матери, едва я родился, и куда меня дели, она не знала. Не знал и я, кто моя мать. Единственными людьми, осведомленными о нашем с нею родстве, были Утер Пендрагон и Мерлин. Много лет спустя, уже став королем, я познакомился с родичами моей матери, так и не зная, кем они мне приходятся. Утер уже умер, а Мерлин вечно путался в своем ясновидении и просто забыл рассказать мне о них, поэтому мы встретились как чужие друг другу. Одну из моих родственниц я нашел очень умной и привлекательной.

— Знаменитые Корнуольские сестры, — холодно обронила Королева.

— Да, дорогая, знаменитые Корнуольские сестры. У покойного Графа было три дочери, приходившихся мне, хоть я того и не знал, сводными сестрами. Их звали Моргана ле Фэй, Элейна и Моргауза, они почитались первыми красавицами Британии.

Двое слушателей ждали, когда тихий голос Короля возобновит рассказ, что он и сделал, не дрогнув.

— Я влюбился в Моргаузу, — прибавил он, — и у нас родился ребенок.

Если кто-то из двоих и почувствовал удивление, негодование, сострадание или зависть, они их не выказали. Их больше всего удивило, что тайну удалось сохранить столь долгое время. Оба они по голосу Короля почувствовали, что он мучается, и не хочет, чтобы его прерывали, пока он до конца не облегчит свою душу.

В молчании, они долго смотрели в огонь, это была самая длинная пауза в разговоре. Наконец Артур пожал плечами.

— Так что, сами видите, — сказал он, — я отец Мордред. Гавейн и прочие — племянники мне, а Мордред настоящий мой сын.

По глазам Короля Ланселот понял, что можно говорить.

— И все равно твоя история не кажется мне такой уж греховной. Ты же не ведал, что Моргауза приходится тебе сводной сестрой. И Гвен ты еще не знал. А судя по дальнейшей жизни Моргаузы, вина скорее всего лежит целиком на ней. Это была не женщина, а дьявол.

— Она была моей сестрой — и матерью моего сына.

Гвиневера погладила его руку.

— Какое несчастье.

— Кроме того, — сказал Король, — она была очень красива.

— Моргауза... — начал Ланселот.

— Моргауза заплатила отрубленной головой за свои прегрешения, и потому нам лучше оставить ее покоиться с миром.

— Отрубленной, — сказал Ланселот, — ее же собственным сыном, заставшим ее в постели с сэром Ламораком...

— Прощу тебя, Ланселот.

— Извини.

— Я все же не думаю, что грех лежит на тебе, Артур. В конце концов ты ведь не знал, что она твоя сестра.

Король глубоко вздохнул и продолжил рассказ, только голос его стал глуше.

— Вы еще не знаете, — сказал он, — худшего из того, что я совершил.

— Чего же?

— Понимаете, я был молод, мне было всего девятнадцать. А Мерлин явился слишком поздно, чтобы объяснить мне, что происходит. Все вокруг втолковывали мне, какой ужасный грех я совершил, и как ничего, кроме бед, из него не воспоследует, и еще много разного о том, на что будет похож Мордред, когда родится. Меня запугали жуткими предсказаниями, и я совершил нечто, с тех самых пор не дающее мне покоя. Видите ли, наша мать, как только все вышло наружу, где-то укрыла Моргаузу.

— И что ты сделал?

— Я повелел объявить, что всех детей, рожденных в определенный срок, надлежит поместить на большой корабль, и корабль пустить в море. Я хотел уничтожить Мордред для его лее блага, а где ему предстоит родиться, того я не знал.

— И это было сделано?

— Да, корабль отплыл, Мордред оказался на нем, и корабль разбило об остров. Большая часть несчастных младенцев утонула, но Мордред Бог сохранил и привел его ко мне, чтобы вечно мучить меня стыдом. Моргауза все открыла ему спустя долгое время после того, как получила его назад. Но перед другими людьми она всегда делала вид, будто он законный сын Лота, подобно Гавейну и всем остальным. Естественно, ни ей, ни его братьям не хотелось рассказывать посторонним об этом деле.

— Ну что же, — сказала Гвиневера, — если никто об этом не знает, исключая Оркнейцев и нас, и если Мордред все-таки уцелел...

— Ты забыла про остальных младенцев, — жалко сказал Король. — Они мне снятся все время.

— Почему ты нам раньше этого не рассказывал?

— Мне было стыдно.

Тут уж Ланселота прорвало.

— Артур, — воскликнул он, — чего тебе стыдиться? Это не ты сделал, это сделали с тобой, когда ты был еще слишком молод, чтобы толком во всем разобраться. Попались бы мне в руки скоты, запугивающие детей рассказнями о грехах, я бы им шеи переломал. Какая польза от таких разговоров? Сколько людей от них пострадало — и ради чего?! И те несчастные дети!

— Они все утонули.

Трое еще посидели, глядя в огонь, затем Гвиневера повернулась к мужу.

— Артур, — спросила она, — а почему ты рассказал нам об этом сегодня?

Он помолчал, подбирая слова.

— Видишь ли, я боюсь, что Мордред втайне питает ко мне неприязнь, — и, в общем, вполне заслуженную.

— Измена? — осведомился главнокомандующий.

— Да нет, Ланс, не то чтобы измена, но, по-моему, его томит недовольство.

— Ну так отруби этому слюнтяю голову, и делу конец.

— Что ты, я и подумать об этом не могу! Ты забываешь, что Мордред мой сын. Я люблю его. Я и без того причинил мальчику много зла, да и род мой почему-то вечно обижал Корнуоллов, так мне еще этого греха не хватало. Кроме того, я все же отец ему. Я вижу в нем себя самого.

— Что-то не улавливаю я особого сходства.

— Тем не менее оно существует. Мордреду присуще стремление к славе и почестям, а я и сам всегда им отличался. Просто он немогуч телом и оттого не способен показать себя в наших играх, и это озлобило его, как, наверное, озлобило бы и меня, если бы мне не сопутствовала удача. Наконец, он на свой причудливый манер отважен и предан своим сородичам. Понимаешь, мать настроила его против меня, это вполне естественно, и по его разумению во мне воплотилось все, что есть дурного на свете. Я почти уверен, что в конце концов он меня убьет.

— И ты всерьез считаешь это веской причиной, чтобы не убить его прямо сейчас?

Лицо Короля отразило вдруг удивление, если не ужас. До этой минуты он покойно сидел между ними, усталый и несчастный, теперь же встал и взглянул своему капитану прямо в глаза.

— Тебе следует помнить о том, что я — Король Англии. А король не может казнить людей, когда ему заблагорассудится. Король стоит во главе своего народа, он обязан служить народу примером и исполнять народную волю.

Испуг на лице Ланселота смягчил Короля, и он снова взял своего друга за руку.

— Ты должен понять, — пояснил он, — что когда короли ведут себя по-бандитски и верят в одну только силу, народ тоже превращается в бандитскую шайку. Если я не буду стоять на страже закона, мой народ лишится его. А я, естественно, хочу, чтобы мой народ жил по новым законам, потому что они принесут ему процветание, а если будет благополучен народ, значит, и я буду благополучен.

Двое смотрели на него, пытаясь понять, что он им хочет внушить. Он не позволял им отвести взгляда, стараясь говорить не с ними, а с их глазами.

— Ты понимаешь, Ланс, я обязан быть абсолютно честным. Я не могу позволить, чтобы что-то еще отяготило мою совесть, довольно мне и этих младенцев. Единственный путь, на котором я могу устранить силу, это путь правосудия. Король не только не должен желать казни для своего недруга, настоящий король обязан с готовностью предать казни друга.

— В том числе и жену? — спросила Гвиневера.

— В том числе и жену, — серьезно ответил Король.

Ланселот, испытывая неловкость, шевельнулся на своей скамье и попытался пошутить:

— Я надеюсь, что ты еще не в ближайшем будущем собираешься отрубить Королеве голову.

Король продолжал держать его за руку и смотрел ему прямо в глаза.

— Если будет доказано, что Гвиневера или ты, Ланселот, повинны в причинении зла моему королевству, я буду обязан отрубить вам обоим головы.

— Силы небесные! — воскликнула Гвиневера. — Надеюсь, никто не станет это доказывать!

— Я тоже надеюсь.

— А Мордред? — помолчав немного, спросил Ланселот.

— Мордред — несчастный молодой человек, и я боюсь, что он способен прибегнуть к любому средству, лишь бы мне повредить. Если ему, к примеру, представится возможность подобраться ко мне, используя тебя либо Гвен, он, я думаю, не преминет ею воспользоваться. Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Понимаю.

— Поэтому если вдруг наступит минута, когда кто-либо из вас окажется... когда возникнет опасность, что он сможет воспользоваться вами как средством... прошу вас, ради меня, будьте настороже, ладно? Я весь в ваших руках, мои дорогие.

— Но мне кажется совершенно бессмысленным...

— С самого первого дня, как он здесь появился, — сказал Ланселот, — ты был к нему добр. Почему же он должен желать тебе зла.

Король сидел, положив на колени руки, и казалось, смотрел на пламя из-под приспущенных век.

— Ты забываешь о том, — мягко сказал он, — что я так и не дал Гвен сына. Умри я, и Мордред сможет стать Королем Англии.

— Если он решится на измену, — стиснув кулаки, сказал Ланселот, — я сам прикончу его.

Перечеркнутая синими венами длань Короля тут же легла ему на руку.

— Вот единственное, чего ты не должен делать ни в коем случае, Ланс. Что бы не учинил Мордред, пусть он даже покусится на мою жизнь, обещаю тебе помнить, что по крови он мой прямой наследник. Я предавался пороку....

— Артур, — воскликнула Королева, — ты не имеешь права так говорить. Это настолько смехотворно, что мне становится стыдно...

— Ты не согласна с тем, что я — человек порочный? — удивленно спросил Король.

— Конечно же, нет.

— А я-то думал, что после рассказа об этих младенцах...

— Да никому, — с жаром вскричал Ланселот, — такое и в голову не придет!

Освещенный пламенем очага, Король встал. Вид у него был озадаченный и польщенный. Ему-то смехотворным казалось предположение, будто он не порочен, но он испытывал к ним благодарность за их любовь к нему.

— Хорошо, — сказал он, — во всяком случае, в дальнейшем я предаваться порску не намерен. Дело короля — по возможности предотвращать кровопролитие, а не подталкивать к нему.

Он еще раз взглянул на них исподлобья.

— Ну, мне пора, дорогие мои, — весело заключил он. — Мне еще нужно заглянуть в Суд по гражданским делам, кое-что подготовить по части нашего прославленного правосудия. Остайся с Гвен, Ланс, развесели ее после этой злосчастной истории, ладно? Ну, вот и умница.



Говоря о своем намерении подготовить кое-что по части своего прославленного правосудия, Артур не подразумевал непосредственного участия в заседании суда. Правда, средневековые короли собственными персонами восседали в судах вплоть до так называемого Генриха IV, предположительно заседавшего и в Суде Казначейства, и в Суде Королевской Скамьи. Но сегодня было уже слишком поздно для законодательной деятельности. Артур просто собирался почитать ходатайства, предназначенные к завтрашнему слушанию, что он, как человек добросовестный, возвел для себя в обычай. Закон стал ныне главным его интересом, последним усилием в одолении Силы.

В пору Утера Пендрагона вообще не существовало закона, о котором стоило бы говорить, если не считать некой разновидности этикета, — ребяческого, однобокого и предназначенного только для высших слоев общества. Даже и теперь, несмотря на содействие отправлению Правосудия со стороны Короля, имевшего целью всемерно стеснить Сильную Руку, существовало три разновидности законов, выпутаться из которых было порой весьма затруднительно. Артур старался выпарить из них нечто общее, объединив обычное, каноническое и римское право в единый кодекс, который, как он надеялся, будет называться «гражданским». Это занятие, как и чтение завтрашних ходатайств, ежевечерне призывало его к трудам, вершившимся в безмолвном уединении Судебной Залы.

Зала располагалась на другом конце дворца. На сей раз она была не так пуста, как ожидалось.

Хотя в ней и присутствовали пятеро, ожидавшие Короля, возможно, первым, на что обратил бы внимание современный посетитель, была все же сама Зала. Прежде всего бросалась в глаза совершенная ее квадратность, которой она была обязана драпировкам. Уже стемнело, так что окна были завешены, двери же оставались завешенными во всякое время, и в итоге человек чувствовал себя в ней, как в ящике: странное ощущение симметричного замкнутого пространства, знакомое, надо думать, бабочкам, попавшим в морилку. Увидеть здесь пятерых людей, значило удивиться, как они сюда попали, ибо это отдавало китайской головоломкой. По всем стенам, от пола до потолка тянулись в два ряда истории Давида и Вирсавии, Сусанны и старцев, излагаемые на тканых картинах, веселые краски которых сияли в полную силу. Выцветшая ветошь, которую мы

ныне разглядываем, утратила всякое сходство с яркими гобеленами, превращавшими Судебную Залу в расписную шкатулку.

Пламя свечей отблескивало на пятерых. Мебели, которая могла бы отвлечь от них взор, в комнате было немного — лишь длинный стол с пергаменами, разложенными на предмет просмотра их Королем, королевский трон да соединенный с сиденьем налой для чтеца в углу. Все краски этого места достались стенам да еще пятерке мужчин. Каждого из них облакал шелковый камзол с гербом, несшим в себе стропило с тремя цветками чертополоха и отличавшимся у мужчин помоложе различными знаками принадлежности к младшей ветви рода, так что вместе они походили на пятерку игральных карт, выложенных на стол. То было семейство Гавейна, по обыкновению ссорившееся.

Гавейн говорил:

— В последний раз тебя спрашиваю, Агравейн, заткнешь ты пасть или нет? Я в это дело лезть не намерен.

— И я тоже, — сказал Гарет. Гахерис сказал:

— И я.

— Твое упрямство грозит клану расколом. Я тебе прямо говорю, ни один из нас тебе не помощник. Сам будешь выкручиваться.

Мордред взирал на них с выражением глумливого терпения.

— Я заодно с Агравейном, — сказал он. — Ланселот и тетя всех нас покрывают позором. Если никто не желает принимать на себя ответственность, значит, придется нам с Агравейном.

Гарет гневно повернулся к нему.

— Ты всегда был готов на любое недоброе дело.

— Спасибо.

Гавейн, сделал над собою усилие, стараясь, чтобы слова его прозвучали умиротворяюще. По природе своей он миротворцем не был, и потому усилие это выглядело воистину физическим, чем-то похожим на землетрясение.

— Мордред, — сказал он, — ради всего святого, прислушайся к голосу разума. Поимей храбрость отступить и оставить все как есть. Я старше тебя и вижу, какое зло из этого выйдет.

— Что бы из этого ни вышло, я намерен обратиться к Королю.

— Пойми, Агравейн, если ты сделаешь это, начнется раздор. Ты разве не видишь, что Артуру с Ланселотом придется обратиться друг против друга, и половина королей Британии примет сторону Ланселота из-за его великой славы, а значит начнется гражданская война?

Глава клана грузно надвинулся на Агравейна, словно незлобивый

зверь, показывающий заученный фокус, и похлопал его по плечу огромной лапой.

— Ну, парень, будет тебе. Забудь, что мы с тобой подрались сегодня. На каждого по временам такое накатывает, но ведь мы с тобой все же родные братья. Я в толк не возьму, как у вас рука поднимается на сэра Ланселота, от которого мы столько лет ничего, кроме добра, не видели? Ты разве не помнишь, как он спас тебя, а заодно и Мордред, от сэра Тарквина? Брось все это, ты же ему жизнью обязан. Да и я тоже, парень, — вспомни сэра Карадоса из Башни Слез.

— Он это сделал ради собственной славы.

Гарет обратился к Мордреду.

— В нашем кругу ты можешь говорить о Ланселоте и Гвиневере все, что тебе угодно, потому что это, к несчастью, правда, но я не желаю слышать, как ты глумишься над ними. Когда меня только приняли ко двору кухонным мальчиком, он был единственным, кто хорошо ко мне относился. Он и малейшего понятия не имел, кто я такой, но постоянно дарил мне что-нибудь, старался меня ободрить и защищал от Кэя, — и именно он посвятил меня в рыцари. Каждый знает, что он за всю свою жизнь не совершил ни единого низкого поступка.

— Когда я был еще молодым рыцарем, — сказал Гавейн, — я, да простит меня Бог, ввязывался в сомнительные поединки и часто впадал в неистовство, — да, разил человека после того, как он уже сдался. Ну, и докатился до того, что убил девицу. А вот Ланселот не причинил зла ни единому существу, которое было слабее него.

Гахерис добавил:

— Он опекает молодых рыцарей и старается помочь им добыть себе славы. Не понимаю я, с чего вы на него взъелись.

Мордред пожал плечами, встряхнул рукавами камзола и изобразил зевок.

— Что до Ланселота, — отметил он, — так это Агравейн к нему неравнодушен. Мой раздор — с нашим добрым монархом.

— Ланселот, — заявил Агравейн, — больно высоко забрался.

— Ничего подобного, — сказал Гарет. — Он и есть самый великий человек, какого я знаю.

— Я не из тех, кто влюблен в него, будто школьник...

По другую сторону гобелена скрипнули петли на двери. Заскрежетала дверная ручка.

— Угомонись, Агравейн, — мягко и настоятельно сказал Гавейн, — не устраивай шума.

— Ну уж нет.

Рука Артура приподняла завесу.

— Прошу тебя, Мордред, — прошептал Гарет.

Король был уже в Зале.

— В конце концов, — сказал Мордред, повышая голос так, чтобы его нельзя было не услышать, — Правосудию должно распространяться и на Круглый Стол, иначе будет нечестно.

Агравейн, тоже притворяясь, будто он не заметил вошедшего, громогласно добавил:

— Настало время, когда кто-то должен сказать правду.

— Мордред, молчи!

— И ничего, кроме правды! — с некоторым даже триумфом закончил горбун.

Артур, чьими помыслами целиком владела предстоявшая ему работа, постукивая каблуками, прошел по каменным коридорам дворца и теперь безо всякого удивления стоял в дверях, ожидая дальнейшего. Украшенные стропилами и чертополохом мужчины, повернувшись к вошедшему, увидели старого Короля в последние минуты его величия. Несколько мгновений они простояли в безмолвии, и Гарет с болью, всегда присущей обретению знания, увидел его таким, каков он был. Он увидел не романтического героя, но простого человека, сделавшего все, что было в его силах; не предводителя рыцарства, но ученика, постаравшегося сохранить верность своему удивительному наставнику, волшебнику, для чего ему пришлось думать и думать, не давая себе передышки; не Артура Английского, но одинокого старого джентльмена, полжизни удерживавшего корону вопреки усилиям рока.

Гарет стремительно опустился на колено.

— Мы не причастны к тому, что здесь происходит!

Гавейн, преклонивший колено гораздо медленнее, опустился на пол рядом с Гаретом.

— Сэр, я пришел сюда, надеясь совладать с братьями, но они меня не послушали. Я не желаю слышать того, что они могут сказать.

Последним на колено встал Гахерис.

— Мы хотим уйти, пока они не начали говорить. Артур вступил в комнату и ласково поднял Гавейна.

— Конечно, уходите, дорогие мои, если вам этого хочется, — сказал он. — Надеюсь, я не стану причиной семейного разлада?

Гавейн мрачно повернулся к двум остальным братьям.

— Это разлад, — произнес он, облакая свою речь, словно в плащ, в

старинные рыцарские словеса, — коему суждено сокрушить цвет рыцарства в целом свете: злая беда для нашего благородного братства, и вся причина ей — двое неудачливых рыцарей.

После того, как Гавейн, храня на лице презрительное выражение и подталкивая перед собою Гахериса, вышел из комнаты, после того, как Гарет, беспомощно махнув рукой, последовал за ним, Король молча подошел к трону. Он снял с сидения две подушки и положил их на ведущие к трону ступени.

— Ну что же, племянники, — ровным голосом сказал он, — присаживайтесь и расскажите, чего вы хотите.

— Мы лучше постоим.

— Конечно-конечно, как вам удобнее.

Такое начало расходилось с тактикой, задуманной Агравейном. Он протестующе произнес:

— Перестань, Мордред! Мы вовсе не собираемся ссориться с нашим Королем. У нас даже в мыслях этого не было.

— Я постою.

Агравейн застенчиво присел на одну из подушек.

— Может быть, на двух вам будет удобнее?

— Нет, спасибо, сэра.

Старик наблюдал за ними и ждал, — так человек, приговоренный к повешению, может покорно исполнять требования палача, не помогая ему, однако, вязать петлю. Он смотрел на них с усталой иронией, предоставляя им самим выполнять задуманное.

— Возможно, самым разумным было бы и дальше молчать об этом, — сказал Агравейн с хорошо разыгранной неохотой.

— Возможно.

Мордред, представляющий главные силы нападавшей стороны, резко вклинился в разговор.

— Это смехотворно! Мы пришли сюда, чтобы кое о чем рассказать нашему дяде, и мы обязаны это сделать.

— Все это так неприятно.

— В таком случае, дорогие мои мальчики, если вы не против, давайте оставим эту тему в покое. Весенние ночи слишком прекрасны, чтобы забивать себе голову неприятными заботами, так не лучше ли вам пойти помириться с Гавейном? Ступайте, попросите, чтобы он одолжил вам завтра своего умницу-ястреба. Королева как раз сегодня говорила, как она любит, когда к обеду подают молодого зайца.

Он пытался спасти ее, а быть может, и всех их. Мордред, уставя на

отца пылающий взор, объявил без предисловий:

— Мы пришли рассказать вам о том, что давным-давно известно каждому при вашем дворе. Королева Гвиневера — давняя любовница сэра Ланселота и не скрывает этого.

Старик наклонился, расправляя мантию. Он обернул ее вокруг ног, чтобы сохранить их в тепле, выпрямился и взгляделся в лица племянников.

— Вы готовы доказать свое обвинение?

— Готовы.

— А известно ли вам, — мягко спросил он, — что оно уже выдвигалось прежде?

— Было бы удивительно, если б оно не выдвигалось.

— Когда подобные слухи поползли в последний раз, они были обязаны своим появлением человеку по имени сэр Мелиагранс. Поскольку никаких иных способов доказать истинность слухов не обнаружилось, пришлось прибегнуть к поединку. Сэр Мелиагранс донес на Королеву, обвиняя ее в предательстве, и готов был сразиться, чтобы отстоять свой донос. По счастью, сэр Ланселот был настолько добр, что встал на защиту Ее Величества. Результаты вы помните.

— Мы хорошо их помним.

— Когда дело дошло наконец до боя, сэр Мелиагранс лег спиной на землю и стал требовать, чтобы сэр Ланселот согласился признать его побежденным. Его ничем невозможно было поднять, пока, наконец, сэр Ланселот не предложил ему биться на тех условиях, что он, Ланселот, снимет с себя шлем, обнажит левую сторону тела и попросит, чтобы ему привязали за спину одну руку. Это предложение сэр Мелиагранс принял и был должным образом зарублен.

— Мы все это знаем, — нетерпеливо воскликнул младший из братьев. — Поединки лишены всякого смысла. Как угодно, но честным правосудием их не назовешь. В них побеждают одни головорезы.

Артур вздохнул и сложил ладони. Он продолжал говорить тихим голосом, ни разу его не повысив.

— Вы еще очень молоды, Мордред. Вам еще предстоит узнать, что правосудие, каким бы способом оно ни свершалось, почти никогда не обеспечивает полного торжества справедливости. Если вы можете предложить какой-либо иной способ решения спорных вопросов, кроме судебного поединка, я с удовольствием испытаю его.

— Если Ланселот сильнее других и всегда заступает за Королеву, то это еще не означает, что Королева всякий раз права.

— Определенно не означает. И однако, как вы понимаете, спорные

вопросы необходимо как-то решать, раз уж мы с ними сталкиваемся. Если доказать утверждение невозможно, стало быть, его надлежит обосновать каким-то иным способом, а почти все эти способы оказываются по отношению к кому-то нечестными. И потом, вы же не обязаны сами сражаться с заступником Королевы, Мордред. Вы можете сослаться на недомогание и нанять сильнейшего из знакомых вам людей, чтобы он бился вместо вас, как, разумеется, и Королева может нанять сильнейшего среди известных ей людей, чтобы он сразился за нее. Это почти то же самое, как нанять наилучшего спорщика, дабы он отстаивал твою правоту. В конечном итоге выигрывает обычно тот, кто богаче, — нанимает ли он самого дорогого спорщика или самого дорогого бойца, и потому не стоит изображать дело так, будто все решает грубая сила.

— Нет, Агравейн, — продолжал он, ибо последний заерзал, желая что-то сказать, — подождите немного, не перебивайте меня. Я хочу, чтобы по части поединков у нас была полная ясность. Как я это понимаю, тут вопрос денег: денег, чистой удачи, ну и, разумеется, отчасти Божией воли. Если денег с обеих сторон поровну, следует признать, что побеждает тот, кому сильнее везет, — как при подбрасывании монеты. Так вот, уверены ли вы двое, что если вы обвините Королеву Гвиневеру в измене, сильнее повезет именно вашей стороне?

Агравейн вступил в разговор, изображая робость. Пил он в тот день с осторожностью, так что рука у него больше не дрожала.

— Если позволите, дядюшка, я хотел бы сказать следующее. Мы надеемся уладить это дело, вовсе не прибегая к судебному поединку.

Взгляд Артура тут же сосредоточился на нем.

— Вы отлично знаете, — сказал он, — что испытание «судом Божиим» отменено, что же до очищения присягой, то, боюсь, найти достаточное количество пэров, равных Королеве рождением, невозможно.

Агравейн улыбнулся.

— Мы не очень много знаем о новых законах, — плавно заговорил он, — но нам кажется, что если обвинение будет доказано в одном из ваших новых судов, то и необходимости в судебном поединке не возникнет. Конечно, мы можем и ошибаться.

— Суд присяжных, — презрительно заметил сэр Мордред, — кажется, так это у вас называется? Ярмарочное правосудие.

Агравейн, холодная душа которого ликовала, подумал: «Вот ты и подорвался на собственной мине!»

Король побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Враг теснил его, обходя с флангов, вынуждая отступить. Он медленно произнес:

— А вы изрядно знаете законы.

— Вот, например, дядюшка, если Ланселота и впрямь обнаружат в постели Гвиневеры — при свидетелях — тогда ведь и поединок окажется ненужным, верно?

— Если вы простите мне эти слова, Агравейн, я предпочел бы, чтобы вы называли вашу тетю по титулу, по крайней мере в моем присутствии, — даже в подобной связи.

— Тетей Дженни, — заметил Мордред.

— Да, я вроде бы слышал, как сэра Ланселот называл ее этим именем.

— «Тетя Дженни»! «Сэр Ланселот»! «Если вы простите мне эти слова»! А они, небось, прямо сейчас целуются!

— Либо вы будете разговаривать как воспитанный человек, Мордред, либо вам придется покинуть эту комнату.

— Дядя, я уверен, что он вовсе не желал проявить бесцеремонность. Просто он очень расстроен бесчестьем, пятнающим вашу заслуженную славу. Мы хотели просить вас о правосудии, Мордред же питает столь глубокие чувства к... ну... к своей Династии. Не правда ли, Мордред?

— Я за нее и пенса ломаного не дам.

Король, чье лицо, казалось, еще больше осунулось, вздохнул, но не утратил терпения.

— Пусть так, Мордред, — сказал он, — нам лучше не затевать сейчас препирательств на менее важные темы. У меня уже не останется сил выслушивать новые грубости. Вы утверждаете, что моя жена — любовница моего лучшего друга, и, видимо, намереваетесь доказать это при помощи свидетелей, вот и давайте этим заниматься. Я так понимаю, что возможные последствия вам известны?

— Мне — нет.

— Ну, уж Агравейну-то — во всяком случае, я в этом уверен. Последствия таковы. Если вы настаиваете на гражданском процессе взамен обращения в Суд Чести, дело будет решаться в соответствии с гражданским законодательством. В случае, если дело выиграете вы, человеку, который спас вас обоих от сэра Тарквина, отрубят голову, а мою жену, которую я очень люблю, сожгут на костре за предательство. Если же вы не сумеете отстоять ваших обвинений, то должен предупредить, что вас, Мордред, я отправлю в изгнание, лишив тем самым всяких надежд на наследование престола, какие у вас покамест имеются, тогда как Агравейну придется в его черед взойти на костер, поскольку, предъявляя подобное обвинение, он сам совершает предательство.

— Всякий знает, что мы способны в два счета доказать наши



обвинения.

— Прекрасно, Агравейн, вы проникательный толкователь закона и вы решили прибегнуть к закону. Я полагаю, напоминать вам о существовании такой вещи, как милосердие, не имеет смысла?

— Это не то ли милосердие, — спросил Мордред, — которое позволяет отпускать младенцев поплавать по морю?

— Благодарю вас, Мордред. Я едва не забыл.

— Мы не хотим милосердия, — сказал Агравейн, — мы хотим правосудия.

— Я уже разобрался в ситуации.

Артур уперся локтями в колени и прикрыл пальцами глаза. Поникший, он просидел с минуту, призывая на помощь себе чувство долга и собственного достоинства, затем заговорил, не отнимая руки.

— И как же вы намереваетесь их захватить? Толстяк был сама благовоспитанность.

— Если вы согласитесь, дядюшка, уехать из дому на ночь, мы соберем вооруженных людей и захватим Ланселота в опочивальне Королевы. Но вам придется уехать, иначе он туда не придет.

— Не думаю, что я могу вот так взять и расставить западню для собственной жены, Агравейн. Я полагаю, будет честным сказать, что бремя доказывания следует возложить на ваши плечи. Да, я думаю это будет честным. Я же определенно обладаю правом отказаться от того, чтобы стать — ну, скажем, подобием соучастника. Намеренно уезжать из дому, чтобы помочь вам, — это не входит в круг моих обязанностей. Нет, в этом я могу отказать вам с чистой совестью.

— Но вы же не можете навсегда отказаться уезжать из дому. Вы не можете провести остаток жизни, оставаясь прикованным к Королеве и не подпуская к ней Ланселота. Вы ведь собирались на следующей неделе присоединиться к охоте, верно? Если вы не отправитесь охотиться, это будет означать, что вы преднамеренно меняете ваши планы, желая воспрепятствовать правосудию.

— Никто не в силах воспрепятствовать правосудию, Агравейн.

— Стало быть, вы уедете на охоту, дядюшка Артур, и дадите нам дозволение ворваться в опочивальню Королевы, если там окажется Ланселот?

Ликование, звучавшее в его голосе, было столь недостойным, что даже Мордред почувствовал омерзение. Король поднялся, кутаясь в мантию, словно не мог согреться.

— Мы уедем.

— И вы не станете предупреждать их заранее? — Голос Агравейна дрожал от возбуждения. — Вы ведь не предупредите их после того, как мы предъявили им обвинение? Это было бы нечестно, ведь так?

— Нечестно?

Он взглянул на них из невероятной дали, казалось, взвешивая на неких весах истину, справедливость, зло и дела человеческие.

— Мы даем вам наше дозволение.

Глаза его вернулись издалека и, блеснув, точно у сокола, сосредоточились только на них.

— Но если вы, Мордред с Агравейном, позвольте мне сказать несколько слов как частному человеку, то знайте: единственная оставшаяся у меня надежда состоит в том, что Ланселот убьет вас обоих, а с вами и всех свидетелей, — подвиг, который, говорю это с гордостью, для моего Ланселота никогда непосильным не был. А к этому могу добавить, уже как служитель правосудия, что если вы хоть в чем-то не сможете доказать вашего чудовищного обвинения, то я стану преследовать вас обоих безжалостно, всею мощью закона, который вы сами же и привели в движение.

Ланселот знал, что Король отправился на охоту в Нью-Форест, и потому с уверенностью ожидал зова Королевы. В спальне его было темно, лишь перед святым образом теплился свет. Облаченный в мантию Ланселот мерял шагами пол. Не считая нарядной мантии и подобия тюрбана на голове Ланселот был готов ко сну, то есть гол.

Комната была мрачноватая, без роскошеств. Голые стены, жесткая, ничем не покрытая скамья, окна без стекол. Оконные проемы затягивало промасленное, пропускающее свет полотно. У великих полководцев часто бывают такие вот простые походные спальни (говорят, и герцог Веллингтон спал в Уолмерском замке на походной кровати), в которых нет ничего, не считая, может быть, кресла или старого сундука. Сундук имелся и в комнате Ланселота — гробовидный, окованный. Кроме него и кровати, смотреть тут было не на что — разве что на огромный меч, стоявший, со свисающей перевязью, у стены.

На сундуке лежал шлем. Походив немного, Ланселот подцепил его, поднес поближе к свету у образа и несколько времени постоял с тем же озадаченным выражением, какое мы давным-давно видели на лице мальчика, — постоял, разглядывая свое отражение в стальной поверхности. Затем он вернул шлем на место и вновь принялся вышагивать по комнате.

Когда в дверь постучали, он решил, что это сигнал. Он подхватил меч и протянул руку к щеколде, но дверь вдруг отворилась сама собой. Вошел Гарет.

— Можно?

— Гарет!

Ланселот окинул его удивленным взглядом и без особого восторга сказал:

— Заходи. Рад тебя видеть.

— Ланселот, я пришел предупредить тебя.

Вглядевшись в Гарета, старик усмехнулся.

— Силы благие! — сказал он. — Надеюсь, ничего серьезного?

— Напротив, все очень серьезно.

— Так заходи же и прикрой дверь.

— Ланселот, это касается Королевы. Я не знаю, с чего начать.

— Ну, тогда и не начинай.

И взяв своего молодого друга за плечи, он принялся разворачивать его

лицом к выходу.

— Очень мило, что ты хотел меня предупредить, — говорил он, стискивая плечи Гарета, — но вряд ли ты сможешь поведать что-либо, мне еще неизвестное.

— Ах, Ланселот, ты ведь знаешь, я на все готов, чтобы тебе помочь. Я и представить себе не могу, что скажут братья, когда услышат, что я побывал у тебя. Но я не мог стоять в стороне.

— Да в чем дело-то?

Он приостановился, чтобы еще раз взглядеться в Гарета.

— В Мордред с Агравейном. Они ненавидят тебя. Вернее, Агравейн ненавидит. Зависть его заела. Мордред больше ненавидит Артура. Мы изо всех сил старались их удержать, но они не слушают. Гавейн сказал, что вообще не желает иметь с этим ничего общего, ни с той, ни с другой стороны, а Гахерису всегда было трудно принять какое-нибудь решение. Вот и пришлось прийти мне. Я не мог не прийти, даже против воли моих братьев и моего клана, потому что я обязан тебе всем и не могу допустить, чтобы это случилось.

— Мой бедный Гарет! Надо же, до какого состояния ты себя довел!

— Они были у Короля и прямо сказали ему, что ты... что ты ходишь к Королеве в опочивальню. Мы пытались им помешать и не стали задерживаться там, не хотели их слушать, но именно это они и сказали.

Ланселот выпустил его плечо и сделал два шага по комнате.

— Не расстраивайся, — сказал он. — Многие и прежде говорили об этом, да ничего из того не вышло. Пошумят и забудут.

— Только не теперь. Я просто чувствую это, нутром.

— Чепуха.

— Это не чепуха, Ланселот. Они ненавидят тебя. На сей раз они не решатся на поединок, потому что помнят Мелиагранса. Они слишком коварны. Они попытаются заманить тебя в западню. И подберутся к тебе так, что ты и не заметишь.

Но старый воин лишь улыбнулся и похлопал его по спине.

— У тебя воображение разыгралось, — объявил он. — Отправляйся к себе, друг мой, ляг в постель и забудь обо всем. Очень мило, что ты пришел, но теперь — иди домой, успокойся, выспись как следует. Если бы Король желал скандала, он ни за что не уехал бы на охоту.

Гарет покусывал пальцы, собираясь с духом, чтобы высказаться прямо. Наконец он решился:

— Прошу тебя, не ходи к Королеве сегодня. Ланселот приподнял одну из своих удивительных бровей, но затем передумал — и опустил.

— Почему вдруг?

— Я уверен, что это ловушка. Я уверен, что Король нарочно уехал на ночь, чтобы ты пришел к ней, и значит, Агравейн будет там, чтобы тебя поймать.

— Артур никогда бы такого не сделал.

— Но ведь сделал же.

— Чепуха. За тобой еще нянька ходила, а я уже знал Артура, — он такого не сделает.

— И все же это рискованно.

— Если это рискованно, что ж, насладимся риском.

— Прошу тебя!

На сей раз рука Ланселота легла Гарету несколько ниже спины и уже всерьез подтолкнула его к выходу.

— Вот что, мой милый кухонный паж, послушай меня. Во-первых, я знаю Артура; во-вторых, я знаю Агравейна. Ты полагаешь, я могу испугаться его?

— Но ведь предательство».

— Гарет, однажды, когда я был еще молод, мне повстречалась дама, гнавшаяся за кречетом, который порвал поводки. Остатки их зацепились за дерево, и птица повисла на его верхушке. Дама уговорила меня влезть на дерево и снять ее кречета. Лазить по деревьям я никогда особенно не умел. А когда я долез доверху и освободил птицу, явился во всеоружии муж этой дамы, намереваясь отрубить мне голову. Вся затея с кречетом оказалась западней, они хотели вытащить меня из доспехов, так чтобы мне оставалось рассчитывать лишь на его милосердие. Я сидел на дереве в одной рубашке, даже без кинжала.

— И что же?

— Да то, что я огрел его суком по башке. А он был мужчиной почище бедного старого Агравейна, пусть даже мы оба с тех веселых времен обзавелись ревматизмом.

— Я знаю, что ты способен справиться с Агравейном. Но представь, что он приведет с собой вооруженную банду.

— Никого он не приведет.

— Приведет.

Шорох донесся от двери, кто-то легонько поскреб ее. Это могла быть и мышь, но глаза Ланселота мгновенно затуманились.

— А приведет, — коротко сказал он, — значит, придется драться с бандой. Только это воображаемая ситуация.

— Ты бы не мог сегодня остаться здесь?

Они уже подошли к двери, и слова королевского капитана прозвучали гораздо решительнее.

— Послушай, — сказал он, — если тебе так уж нужно знать, Королева послала за мной. Вряд ли я могу отказать, когда за мной посылают, верно?

— Выходит, я напрасно изменил Древнему Люду?

— Нет, не напрасно. Всякий, кто узнал бы об этом, только похвалил бы тебя за отвагу. Но Артуру мы можем верить.

— И ты пойдешь, несмотря ни на что?

— Да, мой кухонный паж, и прямо сию минуту. Боже правый, да не делай ты такого трагического лица. Предоставь это занятие мерзавцам, которые в нем поднаторели, а сам беги домой и ложись спать.

— Это значит, прощай.

— Глупости, это значит — спокойной ночи. И что самое главное — Королева ждет.

Старик перебросил мантию через плечо, — легко, словно он еще пребывал в расцвете юношеских сил. Он поднял щеколду и постоял в проеме двери, пытаясь вспомнить, что он забыл.

— Если б я только мог тебя удержать!

— Увы, этого ты не можешь.

Выбросив из головы весь разговор, он шагнул во тьму коридора и исчез. Он и вправду забыл кое-что — свой меч.

В пышной своей спальне окруженная горящими свечами Гвиневера ждала Ланселота, расчесывая поседевшие волосы. Она выглядела на удивление красивой, — не как кинозвезда, но как женщина, отрастившая душу. Гвиневера напевала. Это был гимн — ни больше ни меньше, — прекрасный «Veni, Sancte Spiritus»<sup>[7]</sup>, написанный, как полагают, Папой.

Пламя свечей, спокойно вздымаясь в ночном воздухе, отражалось в золотых лъвях, которыми было усеяно синее покрывало кровати. Узоры из граненых страз поблескивали на гребнях и щетках. Большой жестяной сундук покрывали эмалевые изображения ангелов и святых. На стенах лучились мягкими складками парчовые драпировки, а на полу — достойная порицания, безоглядная роскошь — лежал настоящий ковер. Люди, которым случалось ступать на него, робели, поскольку ковры изначально предназначались не для полов. Артур вообще обходил его стороной.

Гвиневера пела, расчесывая волосы, тихий голос ее гармонировал со спокойствием свечей. Между тем дверь тихо отворилась. Королевский главнокомандующий сбросил свой черный плащ на сундук и, переступив через него, встал у нее за спиной. Она увидела его в зеркале и не удивилась.

— А можно я?

— Если хочешь.

Он взял щетку и, держа ее в пальцах, которым долгая практика сообщила немалую сноровку, провел по серебристой лавине. Королева закрыла глаза.

Спустя некоторое время он заговорил.

— Это похоже... не знаю на что это похоже. Нет, не на шелк. Скорее на льющуюся воду, но и на облако тоже. Облака ведь и состоят из воды, верно? Это как бледный туман, или зимнее море, или водопад, или стог сена, подернутый инеем. Да, сено, глубокое, мягкое и пахучее.

— Возни мне с ними, — сказала она.

— Это море, — торжественно произнес он, — море, в котором я был рожден.

Королева открыла глаза и спросила:

— Ты пришел без помех?

— Никто меня не увидел.

— Артур сказал, что вернется завтра.

— Да? А вот седой волос.

— Выдерни его.

— Бедный волос, — сказал он. — Какой он тонкий. Почему у тебя такие красивые волосы, Дженни? Мне пришлось бы сплести вместе шесть твоих, чтобы получился один толстый, такой, как у меня. Так выдернуть?

— Выдерни.

— Больно?

— Нет.

— Вот интересно, почему? В детстве я часто дергал сестер за волосы, а они — меня, и больно было черт знает как. Или, старея, мы утрачиваем восприимчивость и становимся уже неспособными испытывать боль или радость?

— Нет, это потому что ты выдернул только один, — объяснила она. — Больно, когда выдергиваешь целый клочок. Смотри.

Он наклонил голову, чтобы ей было легче достать, и она, закинув назад белую руку, намотала на палец торчавший у него надо лбом вихор. И тянула, пока он не скорчил гримасу.

— Да, все еще больно. И то облегчение!

— Это так тебя сестры дергали?

— Так, а я их гораздо сильнее. Стоило мне подобраться поближе к любой из моих сестер, как она обеими руками хваталась за косички и прожигала меня гневным взглядом насквозь. Королева рассмеялась.

— Хорошо, что я не из твоих сестер.

— О, твоих волос я бы не тронул. Они слишком прекрасны. С ними я обошелся бы совсем по-другому.

— Как же?

— Я бы... ну, наверное, я бы укрылся ими, свернулся в клубок, как лесная соя, и уснул. Я бы с радостью проделал это прямо сейчас.

— Сначала придется их расчесать.

— Дженни, — внезапно спросил он, — как ты думаешь, долго это продлится?

— О чем ты?

— Гарет только что приходил ко мне, хотел предупредить, что Артур уехал намеренно, желая расставить нам западню, и что Мордред с Агравейном вознамерились нас поймать.

— Артур никогда такого не сделает.

— Вот и я ему так сказал.

— Если только его не заставят, — задумчиво добавила она.

— Как бы они его заставили, не понимаю? Королева отвлеклась в



сторону.

— Какой все-таки Гарет славный — надо же, пошел против братьев.

— Знаешь, по-моему, он один из самых славных людей при дворе. Гавейн благороден, но слишком вспыльчив и злопамятен.

— Он человек верный.

— Да, Артур часто повторяет, что если ты не из Оркнейцев, тебе есть чего бояться, а если из них — считай, тебе повезло. Конечно, дерутся они, как коты, но на самом-то деле обожают друг друга. Это клан.

Мысли Королевы, пройдя стороной, описали круг и вернулись в исходную точку.

— Ланс, — встревоженно спросила она, — как ты думаешь, не могли они вынудить Короля?

— Что ты имеешь в виду?

— У Артура так развито чувство справедливости.

— Я тоже думал об этом.

— И тот разговор на прошлой неделе. По-моему, он пытался нас предупредить. Постой! Ты ничего не слышал?

— Нет.

— Мне почудился какой-то шорох за дверью.

— Пойду взгляну.

Он подошел к двери и распахнул ее, но за ней было пусто.

— Ложная тревога.

— Тогда запри ее.

Ланселот запер дверь на засов — массивный дубовый брусок шириною в пять дюймов, глубоко сидевший в особом пазу, сделанном в толстой стене. Вернувшись к свету, он разделил сияющие волосы на пряди и принялся быстро их заплетать. Руки его порхали, как ткацкие челноки.

— Нервничать глупо, — заметил он. Гвиневера, однако, продолжала размышлять и ответила ему вопросом.

— Ты помнишь Тристрама с Изольдой?

— Конечно.

— Тристрам спал с женой Короля Марка, и Король убил его за это.

— Тристрам был недотепой.

— А мне он казался милым.

— Это ему от тебя и требовалось. И все же он был корнуольским рыцарем и ничем не отличался от них.

— Но его называли вторым среди рыцарей мира. Сэр Ланселот, сэр Тристрам, сэр Ламорак...

— Обычная болтовня.

— Но почему ты считаешь его недотепой? — спросила она.

— Ну, это длинный разговор. Ты ведь не помнишь, каково было рыцарство перед тем, как Артур основал Круглый Стол, а потому и не знаешь, за какого гениального человека тебе посчастливилось выйти замуж. Тебе не заметна разница между Тристрамом и — ну, скажем, Гаретом.

— И какая же между ними разница?

— В прежнее время каждый рыцарь стоял сам за себя. Люди бывалые, хоть тот же сэр Брюс Безжалостный, мало чем отличались от настоящих бандитов. Доспехи делали их неуязвимыми, они это знали, — вот и творили, что хотели. Резали кого ни попадя и блудили, как заблагорассудится. Поэтому, когда Артур взошел на трон, они изрядно прогневались. Он, понимаешь ли, верил в Добро и Зло.

— Он и поныне в них верит.

— По счастью, у него имелся еще и твердый характер, не одни только идеи. Ему понадобилось лет пять примерно, чтобы утвердить эти идеи, а сводились они к тому, что человек должен быть добр. Пожалуй, я одним из первых перенял у него эту мысль, а поскольку я был еще юн, он сделал ее частью моего существа. Обо мне всегда говорят, что я рыцарь добрый, — ну просто само совершенство, да только я-то тут ни при чем. Это все идеи Артура. Именно этих качеств он ждал от младшего поколения, от Гарета, скажем, а теперь они вошли в моду. И привели в итоге к Поискам Грааля.

— Но Тристрам-то почему недотепа?

— Да уж таким уродился. Артур называет его буффоном. Он жил в Корнуолле, Артурово воспитание его миновало, но веянья моды он ухватил. У него бродили в голове какие-то путаные понятия о том, что знаменитому рыцарю следует быть добрым, и он всю жизнь бросался из стороны в сторону, норовя подстроиться под моду, но толком не понимая ее и не чувствуя. Вроде нерадивого ученика — списывает, но не понимает. Настоящей-то доброты в нем и на йоту не было. С женой он себя вел отвратительно, бедного старика Паломида вечно изводил, не позволяя ему забыть, что он всего-навсего черномазый, и с Королем Марком обходился самым постыдным образом. Корнуольские рыцари принадлежат к Древнему Люду, и в душе они всегда питали враждебность к идеям Артура, далее если отчасти их и усваивали.

— Как Агравейн.

— Верно. Мать Агравейна из корнуольцев. Агравейн потому и ненавидит меня, что для него я олицетворяю эти идеи. Забавно, но всю нашу троицу, тех, кого обыкновенные люди называли лучшими рыцарями, — я имею в виду Ламорака, Тристрама и себя самого, —

потомки Древнего Люда от души ненавидели. Когда Тристрам погиб, они с ума сходили от радости, а все потому, что он копировал нашу идею, да и Ламорак был убит, причем предательски, не кем иным, как семейством Гавейна.

— Я думаю, — сказала она, — что на самом деле все причины, по которым Агравейн тебя ненавидит, сводятся к старинной басне о зеленом винограде. Не волнует его никакая идея, он просто естественным образом терзается завистью к любому бойцу, который его превосходит. Он ненавидел Тристрама за взбучку, которую получил от него по дороге в Веселую Стражу, а в убийстве Ламорака участвовал, потому что тот его побил на турнире вблизи аббатства; что до тебя — сколько раз ты его повергал?

— Не помню.

— Ланс, ты понимаешь, что двое других ненавистных ему людей уже мертвы?

— Рано или поздно умирает каждый. Внезапно Королева рванулась, высвобождая из его пальцев пряди своих волос. Она развернулась в кресле и, придерживая одной рукой косу, уставилась на него округлившимися глазами.

— Я уверена, что Гарет сказал правду! Я уверена — они сейчас идут сюда, чтобы захватить нас!

Она вскочила и начала подталкивать его к двери.

— Уходи. Уходи, пока еще есть время.

— Но Дженни...

— Нет. Никаких «но», я знаю, что это правда. Я чувствую. Вот твой плащ. Ах, Ланс, пожалуйста, уходи поскорее. Они закололи сэра Ламорака ударом в спину.

— Оставь, Дженни, не волнуйся так неизвестно из-за чего. Это только фантазии...

— Это не фантазии. Прислушайся. Слушай.

— Ничего не слышу.

— Посмотри на дверь.

Ручка, приподнимавшая дверную щеколду, кусок металла, выкованного в форме конской подковы, медленно сдвигалась влево. Она перемещалась, будто краб, с некоторой опаской.

— Ну, и что там с дверью?

— На ручку смотри!

Они стояли, зачарованно глядя, как она движется — вслепую, рывками, робко и неуверенно, как бы нащупывая путь.

— О Боже, — прошептала Королева, — теперь уже слишком поздно!

Щеколда упала на место, и о дерево двери звучно ударил металл. Дверь была крепкая, двуслойная, в одном слое волокна шли вдоль, в другом поперек, и снаружи в нее ударили латной рукавицей. Голос Агравейна, отдаваясь эхом в пустотах его шлема, закричал:

— Именем Короля, откройте дверь!

— Мы погибли, — сказала она.

— Рыцарь-изменник, — выкрикнул голос, похожий на ржание, и дерево содрогнулось под ударом металла. — Сэр Ланселот, теперь ты попался!

Закричало еще несколько голосов. Множество доспехов, более уже не сдерживаемых необходимостью соблюдать осторожность, залязгало по каменной лестнице. Дверь прогибалась, приникая к засову.

Не сознавая того, Ланселот тоже перешел на язык рыцарства.

— Не сыщется ли в покое каких-нибудь доспехов, — спросил он, — дабы мне прикрыть мое тело?

— Ничего нет. Даже меча.

Он стоял, глядя на дверь с озадаченным, деловитым выражением и покусывая пальцы. В дверь лупили уже несколько кулаков, она содрогалась, голоса, долетавшие из-за нее, вполне могли принадлежать своре гончих.

— Ах, Ланселот, — сказала она, — здесь нет ничего, чем можно биться, и ты почти гол. Их много, они при оружии. Тебя убьют, а меня сожгут на костре, и наша любовь пришла к печальному концу.

Положение казалось безвыходным, и это злило Ланселота.

— Хоть бы мои доспехи были со мной, — раздраженно сказал он, — это же смехотворно, погибнуть вот так, будто крыса в ловушке.

Он оглядел комнату, кляня себя за то, что забыл взять оружие.

— Рыцарь-изменник! — бухал голос. — Выходи из опочивальни Королевы!

Другой голос, музыкальный и хладнокровный, весело крикнул:

— Подумай как следует, нас тут четырнадцать человек при оружии, тебе от нас не уйти.

Голос принадлежал Мордреду, удары усилились.

— Ах, будь они прокляты, — сказал Ланселот. — Сколько шуму от них. Придется мне выйти, иначе они поднимут весь замок.

Он повернулся к Королеве и обнял ее.

— Дженни, я почитаю тебя благороднейшей из всех христианских королев. Достанет ли тебе силы?

— Дорогой мой.

— Моя милая старушка Дженни. Поцелуемся. Теперь послушай. Ты всегда была моей единственной прекраснейшей дамой, и мы никогда друг друга не подводили. Не страшись и на этот раз. Если они убьют меня, помни про сэра Борса. Все мои братья и племянники будут заботиться о тебе. Пошли известие Борсу или Эктору, они спасут тебя, если потребуется. Они доставят тебя невредимой в Веселую Стражу, и ты сможешь жить на моих землях Королевой, как тебе и приличествует. Ты поняла?

— Если тебя убьют, я не хочу спасения.

— Ты обязана спастись, — твердо сказал он. — Кто-то должен остаться в живых, дабы достойно объяснить, что с нами случилось. Кроме того, я хочу, чтобы ты за меня молилась.

— Нет. Молиться придется кому-то другому. Если тебя убьют, я пойду на костер и приму смерть мою так же кротко, как любая христианская королева.

Он нежно поцеловал ее и опустил в кресло.

— Слишком поздно спорить, — сказал он. — Я знаю, что бы ни случилось, ты останешься той же Дженни, а стало быть, и мне надлежит оставаться пока Ланселотом.

Затем, еще раз окинув комнату озабоченным взглядом, добавил рассеянно:

— Конечно, им оно, может, и на руку, но, втянув тебя в эту распрю, они совершили недоброе дело.

Она наблюдала за ним, стараясь не расплакаться.

— Ногу бы отдал, — сказал он, — за самые простые доспехи, даже за обычный меч, чтобы им было после, о чем вспоминать.

— Ланс, если бы они убили меня, а ты бы спасся, я была бы счастлива.

— А я был бы несчастен до чрезвычайности, — ответил он и вдруг понял, что ему на удивление весело. — Ну ладно, постараемся сделать, что можем. Докука моим старым костям, однако сдается мне, удовольствие я получу!

Он составил свечи на крышку лиможского сундука, так чтобы они оказались у него за спиной, когда он откроет дверь. Он подобрал свой черный плащ, аккуратно сложил его по длине вчетверо и обмотал вокруг кисти и предплечья левой руки, чтобы их защитить. Взяв в правую руку стоявший у постели табурет, он ухватил его поудобнее и в последний раз окинул комнату взглядом. Все это время наружный шум возрастал, и какие-то двое, судя по всему, пытались даже прорубить боевыми топорами дверь — попытка, которую прекращение древесных волокон в двуслойной двери

делало безнадежной. Ланселот подошел к двери и возвысил голос, отчего за ней сразу же стало тихо.

— Честные лорды, — сказал он, — не шумите так и не спешите. Я сейчас отопру эту дверь, и тогда вы сможете сделать со мною, что пожелаете.

— Ну давай, — закричали они, перебивая друг друга.

— Отпирай.

— Не сражаться же тебе против всех нас.

— Впусти нас в опочивальню.

— Мы сохраним тебе жизнь, если ты пойдешь с нами к Королю Артуру.

Ланселот прижал плечом ходившую ходуном дверь и неслышно втолкнул засов в стену. Затем, еще придерживая дверь, — люди по другую сторону двери перестали ее рубить в ожидании чего-то, что, как они почувствовали, вот-вот произойдет, — он крепко упер правую ногу в пол футах в двух от косяка и отпустил дверь, дав ей открыться. Дверь натолкнулась на его ногу и, дрогнув, застыла, оставив узкий проход, так что назвать ее распахнутой было нельзя, скорей приоткрытой, — и через этот проход с послушанием куклы на ниточках внутрь сразу же влез единственный рыцарь при полном оружии. Ланселот захлопнул за ним дверь, мгновенным ударом загнал на место засов, обмотанной левой рукой схватил меч пришлеца за головку эфеса, дернул его на себя, подставил рыцарю ногу, пока тот падал, саданул по голове табуретом и через долю секунды уже сидел у него на груди — проворность ему еще не изменила. Со стороны казалось, будто он проделал все это с легкостью и даже ленцой, словно вооруженного мужчину покинули силы. Вошедший в комнату человек, высотой и шириной доспехов напоминавший орудийную башню, человек, простоявший долю секунды, глядя на противника сквозь прорезь шлема, оставил по себе впечатление робкой покорности, — казалось, что он вошел, вручил свой меч Ланселоту и бросился на пол. Теперь эта груда металла так же послушно лежала на полу, пока ее голоногий противник вдавливал острие ее же меча в дыхательное отверстие забрала. И когда Ланселот обеими руками нажал на рукоять, груда лишь протестующе содрогнулась раз-другой.

Ланселот поднялся, вытирая руки о мантию.

— Жаль, но пришлось его убить.

Он открыл забрало и глянул внутрь:

— Агравейн Оркнейский!

Из-за двери донесся жуткий крик, стук, треск и проклятия. Ланселот

повернулся к Королеве.

— Помоги мне с доспехами, — коротко бросил он. Она подошла к нему сразу, без отвращения, и оба они опустили на колени близ тела, сдирая с него жизненно важные части доспехов.

— Послушай, — говорил он, пока оба работали. — Мы получили честный шанс. Если мне удастся их отогнать, я вернусь за тобой, и ты отправишься в Веселую Стражу.

— Нет, Ланс. Мы и так принесли немало вреда. Если ты пробьешься, держись в стороне, пока все не успокоится. Я останусь здесь. Если Артур простит меня и если эту историю удастся замять, ты сможешь потом вернуться. А если он меня не простит, ты сможешь прийти мне на помощь. Это куда?

— Дай-ка мне.

— Вот еще одна.

— Все же гораздо лучше тебе уехать, — настаивал он, втискиваясь в кольчугу, словно футболист, надевающий свитер.

— Нет. Если я уеду, все рухнет навеки. Если же я останусь, мне, может быть, удастся все как-то уладить. Ты же всегда сможешь спасти меня, если в том будет нужда.

— Не хочется мне тебя оставлять.

— Если меня осудят и ты спасешь меня, я уеду в Веселую Стражу, обещаю.

— А если нет?

— Протри шлем плащом, — сказала она. — А если нет, ты сможешь потом вернуться, и все будет по-прежнему.

— Ну, хорошо. Так. Без остального я обойдусь. Он выпрямился, держа в руке окровавленный меч, и взглянул на мертвого человека, когда-то убившего свою мать.

— Брат Гарета, — сказал он задумчиво. — Пьян был, наверное. Господь да упокоит его душу, — как ни абсурдно это звучит.

Старая дама развернула его лицом к свечам.

— Это означает «прощай», — прошептала она, — но ненадолго.

— Это означает «прощай».

Он поцеловал ее руку, поскольку был в доспехах, и грязь вперемешку с кровью покрывала металл. Оба одновременно подумали о тринадцати, ждущих снаружи.

— Мне бы хотелось, чтобы ты взял у меня что-нибудь, Ланс, и дал мне что-нибудь свое. Давай обменяемся кольцами.

Они обменялись кольцами.

— Бог да пребудет с моим кольцом, — сказала она, — как я с ним пребуду.

Ланселот повернулся и направился к двери. Снаружи кричали:

— Выходи из Королевиной спальни!

— Изменник Королю!

— Открывай дверь!

Они старались наделать побольше шума, чтобы вызвать скандал. Ланселот встал к источнику шума лицом, расставил ноги и ответил им на языке чести.

— Оставьте этот шум, сэры Мордред, и примите мой совет. Ступайте прочь от дверей этого покоя и не поднимайте такого крика, и не занимайтесь больше наветами. И если вы разойдетесь и перестанете шуметь, я завтра утром предстану перед Королем, и тогда мы посмотрим, который из вас — или, может быть, все вы — осмелитесь обвинить меня в измене.

И там я отвечу вам так, как надлежит рыцарю, что сюда я пришел не со злым умыслом; и это я там докажу и внушу, как должно, моими собственными руками.

— Тьфу на тебя, предатель! — прокричал Мордред. — Мы все равно захватим тебя, несмотря на твое бахвальство, и убьем тебя, если захотим.

Другой голос проорал:

— И знай, что мы от Короля Артура получили право выбора: убить нам тебя или помиловать.

Ланселот опустил забрало на затененное лицо и острием меча сдвинул засов. За распахнувшейся с грохотом крепкой деревянной дверью обнаружился узкий проход, забитый железными фигурами и мечущимся пламенем факелов.

— Ах, сэры, — зловеще произнес Ланселот, — а другого благословения нету на вас? Тогда держитесь.



Спустя неделю, клан Гавейна собрался в Судебной Зале. При дневном освещении комната выглядела иной, поскольку окна теперь занавешены не были. Она больше не походила на ящик, лишившись отчасти обманчивой и угрожающей ровности всех четырех стен, которая превращала ее в подобие гобеленовой западни, вроде той, что соблазнила рапиру Гамлета на поиски крыс. Свет послеполуденного солнца вливался в створчатые окна, расцветивая тканый рассказ о Вирсавии, сидевшей, выпятив чету округлых грудей, в ванне, установленной на зубчатой стене замка, который казался сложенным из игрушечных детских кирпичиков; ярким пятном выделяя Давида на ближайшей к ней крыше — бородатого, в короне и с арфой; зыблясь на сотнях коней, копий, торчавших все в одну сторону, доспехов и шлемов, рябивших в сцене битвы, ставшей для Урии последней. Сам Урия, напоминая неопытного нырятьщика, валился с коня, получив от вражеского рыцаря удар мечом, застрявшим в области диафрагмы. Меч, дойдя до середины тела, развалил несчастного надвое, и из раны обильно извергались пугающе реалистические вермильоновые черви, по всей видимости, изображавшие Уриевы кишки.

Гавейн угрюмо сидел на одной из поставленных для просителей боковых скамеек, скрестив руки и затылком прислонясь к гобелену. Гахерис, присев на длинный стол, возился с кожаным плетением соколиного клубочка. Он пытался поменять местами стягивающие клубочок ремешки, чтобы тот садился плотнее, и, поскольку плетение было сложным, запутался. Рядом с ним стоял Гарет, испытывавший острое желание отобрать у брата клубочок, ибо был уверен, что сможет поправить дело. Мордред с белым лицом и рукою в повязке люлькой стоял, прислонясь, в амбразуре одного из окон и смотрел наружу. Его все еще мучила боль.

— Это надо в прорезь продеть, — сказал Гарет.

— Знаю-знаю. Я хочу сначала просунуть вот этот.

— Дай я попробую.

— Погоди минуту. Прошел. Мордред сказал от окна:

— Палач готов начать.

— Угу.

— Жестокая ее ожидает смерть, — сказал Мордред. — Дерево взяли выдержанное, дыма не будет, так что она сторит, не успев задохнуться.

— Это ты так думаешь, — мрачно сказал Гавейн.

— Несчастливая старуха, — сказал Мордред. — Даже как-то жалко ее становится.

Гарет гневно повернулся к нему.

— Мог бы раньше об этом подумать.

— А теперь верхний, — сказал Гахерис.

— Насколько я понимаю, — продолжал Мордред, ни к кому в особенности не обращаясь, — нашему сюзерену полагается наблюдать за казнью через это окно.

Гарет окончательно вышел из себя.

— Ты бы не мог помолчать хоть минуту? А то начинает казаться, что тебе нравится смотреть, как сжигают людей.

Мордред презрительно ответил:

— Как и тебе, на самом-то деле. Только ты думаешь, что говорить об этом вслух некрасиво. Ее сожгут в одной рубашке.

— Да умолкни ты, ради Бога! Тугодум Гахерис произнес:

— По-моему, тебе нечего так волноваться. Мордред мгновенно развернулся к нему.

— Почему это ему нечего волноваться?

— А чего ему волноваться? — сердито спросил Гавейн. — Или ты полагаешь, что Ланселот не примчится ее спасать? Уж он-то во всяком случае не трус.

Мордред быстро сообразил, о чем речь. Спокойная поза его сменилась нервным возбуждением.

— Однако если он попытается спасти ее, будет бой. Королю Артуру придется сражаться с ним.

— Король Артур будет наблюдать за казнью отсюда.

— Но это чудовищно! — взорвался Мордред. — Ты хочешь сказать, что Ланселоту позволят улизнуть с Гвиневерой из-под нашего носа?

— Вот именно это самое и случится.

— Но тогда вообще никто не будет наказан!

— Силы небесные, ты человек или нет? — воскликнул Гарет. — Неужели тебе так хочется увидеть, как сжигают женщину?

— Да, хочется! Вот именно хочется! Гавейн, ты что же, намерен сидеть здесь и ждать, пока это случится, после того как убили твоего брата?

— Я предупреждал Агравейна.

— Вы трусы! Гарет! Гахерис! Заставьте его сделать что-нибудь. Этого нельзя допустить. Он же убил Агравейна, вашего брата.

— Насколько мне известна вся эта история, Мордред, Агравейн и с

ним еще тринадцать рыцарей в полном вооружении вознамерились убить Ланселота, когда на нем ничего, кроме мантии, не было. А кончилось тем, что убитым оказался сам Агравейн и с ним все тринадцать рыцарей, — за исключением одного, который сбежал.

— Я не убежал.

— Ты выжил, Мордред.

— Гавейн, клянусь, я не убежал. Я сражался с ним, сколько было сил. Но он сломал мне руку, и я ничего не смог сделать. Клянусь честью, Гавейн, я честно сражался с ним.

Он почти плакал.

— Я не трус.

— Если ты не убежал, то как же вышло, — спросил Гахерис, — что Ланселот отпустил тебя, перебив всех остальных? В его интересах было убить всех вас, тогда бы и свидетелей не было.

— Он сломал мне руку.

— Да, но он не убил тебя.

— Я говорю правду.

— Но он же тебя не убил.

От боли в руке и от гнева Мордред расплакался, как дитя.

— Предатели! Вот всегда так. Оттого, что я слабее других, все вы против меня. Вам подавай мускулистых болванов, а мне вы все равно не поверите, что бы я ни говорил. Агравейн мертв и отпет, а вы не хотите даже, чтобы кого-то наказали за это. Предатели! Предатели! И все останется по-прежнему!

В тот миг, когда в комнату вошел Король, голос Мордреда сорвался. Вид у Артура был усталый. Он медленно приблизился к трону и устроился на нем. Гавейн, поднявшийся было со скамьи, снова плюхнулся на нее, а Гарет с Гахерисом так и остались стоять, с жалостью глядя на Артура под аккомпанемент Мордредовых рыданий.

Артур ладонью потер лоб.

— Почему Мордред плачет? — спросил он.

— Мордред пытался нам объяснить, — ответил Гавейн, — как это вышло, что Ланселот убил тринадцать рыцарей, а потом подумал-подумал да и решил, что нашего Мордреда убивать не стоит. Причина, видать, была та, что между ними вспыхнули теплые чувства.

— Я думаю, что могу объяснить, в чем причина. Видите ли, десять дней назад я попросил сэра Ланселота не убивать моего сына.

Мордред горько сказал:

— И на том спасибо.

— Вам не меня следует благодарить, Мордред. Правильнее всего было бы сказать спасибо Ланселоту.

— Лучше бы он меня убил.

— Я рад, что он этого не сделал. Постарайтесь научиться хоть немного прощать, сын мой, теперь, когда у нас такая беда. Помните, что я ваш отец. У меня больше не осталось семьи, только вы один.

— Лучше бы мне было и не родиться.

— Я тоже так думаю, бедный мой мальчик. Но вы родились, и нам теперь остается как можно лучше исполнить свой долг.

Мордред, на лице которого выразилось как бы застенчивое коварство, поспешил подойти к нему.

— Отец, — сказал он, — известно ли вам, что Ланселот непременно явится, чтобы спасти ее?

— Я ожидал, что так это и будет.

— Но вы выставили рыцарей, чтобы ему помешать? Вы распорядились о крепкой страже?

— Стража крепка настолько, насколько это возможно, Мордред. Я старался быть честным.

— Отец, — взмолился Мордред, — пошлите им в помощь Гавейна и этих двоих. Он же приведет с собой сильный отряд.

— Как, Гавейн? — спросил Король.

— Спасибо, дядя. Только вы бы меня лучше не просили.

— Я обязан попросить вас, Гавейн, чтобы соблюсти справедливость по отношению к страже, уже находящейся там. Вы же понимаете, если я считаю, что появится Ланселот, выставить слабую стражу было бы нечестно, ибо это означало бы — предать своих людей, просто пожертвовать ими.

— Станете вы меня просить или нет, но при всем уважении к Вашему Величеству, я туда не пойду. Я этих двоих наперед предупредил, что участвовать в их затее не стану. Нет у меня желания ни смотреть, как сжигают Королеву Гвиневеру, — хотя, должен сказать, и не выйдет из этого ничего, так я надеюсь, — ни помогать ее сжечь. Вот и весь сказ.

— Ваши речи пахнут изменой.

— Может, и так, но только я к Королеве всегда относился по-доброму.

— Я тоже относился к ней по-доброму, Гавейн. Это ведь я женился на ней. Но когда дело идет о государственном правосудии, обычные чувства лучше отставить в сторону.

— Боюсь, не получится у меня их отставить. Король повернулся к другим двум братьям.

— Гарет? Гахерис? Вы окажете мне услугу, надев доспехи и укрепив

собой стражу?

— Дядя, пожалуйста, не просите нас.

— Поверьте, мне не доставляет радости просить вас об этом, Гарет.

— Я знаю, но, пожалуйста, не надо нас заставлять. Ланселот — мой друг, как я могу с ним биться?

Король коснулся его руки.

— Ланселот ожидал бы, что вы пойдете туда, дорогой мой, против кого бы мы ни выставили стражу. Он тоже верит в справедливость.

— Дядя, я не могу с ним сражаться. Он посвятил меня в рыцари. Я пойду, если таково ваше желание, но я пойду без доспехов. Хотя боюсь, что и это тоже пахнет изменой.

— Я готов пойти в доспехах, — сказал Мордред, — пусть даже рука моя сломана.

Гавейн саркастически заметил:

— Для тебя, паренек, это будет вполне безопасно. Мы же знаем, что Король попросил Ланселота, чтобы он тебя не обижал.

— Предатель!

— А вы, Гахерис? — спросил Король.

— Я пойду с Гаретом, безоружный.

— Ну что же, полагаю, большего мы сделать не можем. Кажется, я постарался сделать все, чего требовал долг.

Гавейн поднялся со скамьи и с неуклюжим сочувствием протопал к Королю.

— Вы сделали больше, чем можно было от вас ожидать, — с теплотой в голосе произнес он, держа в своей лапе ладонь с набрякшими венами, — и теперь нам остается только надеяться на лучшее.

Пусть мои братья пойдут туда — без оружия. Он не тронет их, если будет видеть их лица. А я должен остаться здесь, с вами.

— Ну, значит, идите.

— Можно, я скажу палачу, чтоб начинали?

— Скажите, Мордред, если вам это нужно. Передайте ему мой перстень и возьмите у сэра Бедивера письменное распоряжение.

— Спасибо, отец. Спасибо. Это не займет и минуты.

И обладатель бледного, озаренного энтузиазмом, а на миг и странно искренней благодарностью лица поспешил прочь из Залы. С горящими глазами и нервно подергивающимся ртом он последовал за братьями, вышедшими, чтобы присоединиться к страже. Старый Король, оставшись наедине с Гавейном, уронил голову на руки.

— Он мог бы сделать это, проявив чуть больше достоинства. Или хоть

постаравшись не выказать удовольствия.

Гавейн положил руку на его поникшее плечо.

— Не бойтесь, дядя, — сказал он. — Все будет как должно. Ланселот спасет ее, когда наступит определенное Богом время, и никто не причинит ей вреда.

— Я старался исполнить мой долг.

— Вы достойны восхищения.

— Я приговорил ее, потому что закон того требует, и сделал все, зависящее от меня, чтобы привести приговор в исполнение.

— Но этого не будет. Ланселот не допустит, чтобы она пострадала.

— Гавейн, вам не следует думать, будто я пытаюсь ее спасти. Я — правосудие Англии, и наша задача — без всякой жалости предать ее смерти на костре.

— Да, дядя, и всякому ведомо, как вы старались об этом. Но правда-то остается правдой, — в душе мы оба желаем, чтобы она не пострадала.

— Ах, Гавейн, — сказал Король. — Ведь я столько лет был ей мужем!

Гавейн повернулся к нему спиной и отошел к окну.

— Не мучьте себя. Вся эта смута кончится, как ей и следует.

— А как следует? — воскликнул старик, горестно глядя Гавейну в спину. — И как не следует? Если Ланселот придет к ней на помощь, он убьет множество ни в чем не повинных людей, назначенных в стражу, которую я поставил, чтобы сжечь ее на костре. Они доверились мне, и я выставил их, чтобы они его к ней не подпустили, ибо таково правосудие. Если он ее спасет, они падут. А если они не падут, сожгут ее. Она погибнет, Гавейн, в страшном, опаляющем пламени, — она, столь любимая мною Гвен.

— Да не думайте вы об этом. Ничего такого не будет.

Но Король уже не владел собой.

— Почему же тогда он сразу не объявился? Чего он так долго ждал?

Гавейн твердо сказал:

— Он должен был дожждаться, когда она окажется на открытом месте, на площади, иначе ему пришлось бы штурмовать замок.

— Я пытался предупредить их, Гавейн. За несколько дней до того, как их поймали. Но ведь трудно называть вещи прямо их именами, не обижая людей. Да и я вел себя, как дурак. Старался не сознавать, что происходит. Я думал, что, если не буду вполне сознавать происходящего, все в конце концов выправится. Вам не кажется, что в случившемся виноват я сам? Что я мог бы спасти их, сделать для этого что-то еще?

— Вы сделали все, что могли.

— Я совершил в молодости бесчестный поступок, и из него выросли все мои беды. Как по-вашему, возможно уничтожить последствия злого дела, творя вслед за ним добрые? Не думаю. С тех самых пор я пытался остановить зло добрыми делами, но оно лишь распространялось, как круги по воде. Вам не кажется, что и это — тоже его результат?

— Не знаю.

— До чего же страшно вот так сидеть и ждать! — воскликнул Король. — А Гвен, наверное, еще хуже. Почему они не вывели ее сразу, чтобы все кончилось поскорее?

— Уже скоро.

— И ведь во всем этом нет ее вины. А чья же тогда? Моя? Быть может, мне следовало отвергнуть свидетельство Мордредра и закрыть на это дело глаза? Или оправдать ее? Я мог бы пренебречь моим новым законом. Это мне следовало сделать?

— Вы могли это сделать.

— Я ведь мог поступить по своему желанию.

— Да.

— Но что бы тогда осталось от правосудия? Каковы были бы последствия? Последствия, правосудие, злые дела, утонувшие дети! Каждую ночь они окружают меня.

Гавейн заговорил тихо, изменившимся голосом.

— Вам должно забыть об этом. Вам должно собрать в кулак все ваши силы, ибо предстоит самое трудное. Вы справитесь?

Король стиснул подлокотники трона. — Да.

— Боюсь, что вам придется подойти к окну. Ее вот-вот выведут.

Старик не шелохнулся, только пальцы его намертво стиснули дерево. Он так и сидел, глядя перед собой. Затем с усилием поднялся, перенес вес на запястья, и двинулся навстречу своему долгу. В его отсутствие казнь считалась бы незаконной.

— На ней белая рубашка.

Двое тихо стояли бок о бок, наблюдая за происходящим как люди, которые не могут позволить себе никаких чувств. В испытании, свалившемся на них, было нечто оглушающее, низводившее их разговор до обмена краткими замечаниями. — Да.

— Что они делают?

— Не знаю.

— Молятся, наверное.

— Да. Это епископ впереди. Они смотрели на молящихся.

— Станный у них вид.

— Обыкновенный.

— Как по-вашему, можно мне сесть? — словно дитя, спросил Король. — Я им уже показался.

— Вы должны стоять.

— Мне кажется, я не смогу.

— Вы должны.

— Но, Гавейн, а вдруг она на меня посмотрит?

— Без вас казнь совершить невозможно, таков закон.

Снаружи, под окном, на укороченной перспективой рыночной площади, казалось, запели гимн. Разобрать отсюда слова или мелодию было невозможно. Они различали священнослужителей, хлопочущих о соблюдении приличествующих смерти формальностей, и мерцание неподвижно стоящих рыцарей, и множество людских голов, — как будто по сторонам площади расставили корзины с кокосовыми орехами. Разглядеть Королеву было делом нелегким. Она появлялась и снова скрывалась, словно вихрем, несомая сложным церемониалом: ее вели то в одну, то в другую сторону, к ней то стекалась стайка судейских чиновников и духовников, то ей представляли палача, то уговаривали встать на колени и помолиться, то увещевали подняться и произнести речь, то окропляли, то подносили свечи, кои ей полагалось держать в руках, то прощали ей все прегрешения, то упрашивали, чтобы ода простила прегрешения всем окружающим, и все подвигали и подвигали поближе к костру, выталкивая из жизни обстоятельно и с достоинством. Что там ни говори, но процедура предания смерти осужденного законом преступника в «Темные Века» отнюдь не отличалась неряшливостью. Король спросил:

— Видите вы кого-нибудь, кто спешит ей на помощь?

— Нет.

— А ведь кажется, прошло уже много времени. Пение за окном прервалось, наступила гнетущая тишина.

— Долго еще?

— Всего несколько минут.

— Они позволят ей помолиться?

— Да, это они ей позволят. Старик внезапно спросил:

— Как по-вашему, может, и нам следует помолиться?

— Если желаете.

— Наверное, нам нужно встать на колени?

— По-моему, это не важно.

— Какую молитву мы прочитаем?

— Я не знаю.



- Может быть, «Отче наш»? Я только ее и помню.
- Что ж, молитва хорошая.
- Будем читать вместе?
- Если желаете.
- Гавейн, боюсь, мне все же придется встать на колени.
- Я останусь стоять, — сказал Властитель Оркнея.
- Ну вот...

Они еще только начали возносить свои безыскусные мольбы, когда из-за рыночной площади чуть слышно донесся сигнал трубы.

— Чшш, дядя!

Молитва смолкла на полуслове.

— Смотрите, там воины. По-моему, конные! Артур, вскочив, уже стоял у окна.

— Где?

— Труба!

И теперь уже прямо в комнату ворвалось ясное, пронзительное, ликующее пение меди. Король, дергая Гавейна за локоть, дрожащим голосом закричал:

— Мой Ланселот! Я знал, он придет!

Гавейн протиснул в оконницу грузные плечи. Они толкались, боясь упустить хоть что-то из виду.

— Да. Это Ланселот!

— Смотрите, он в серебре.

— Алый пояс на серебряном поле!

— Как держится в седле!

— Вы посмотрите, что там творится! Посмотреть, действительно, стоило. Рыночную площадь размело, словно лавиной, — то была сцена из жизни Дикого Запада. Корзины полопались, и кокосы раскатились в разные стороны. Рыцари стражи лезли на коней, подпрыгивая сбоку от своих скакунов с ногой, засунутой в стремя, меж тем как кони кружили вокруг всадников, словно вокруг осей. Псаломщики разбегались, бросая кадила. Священники посохами прокладывали себе путь через толпу. Епископа, который уходить не желал, стиснуло людскими телами и относило к церкви, а за ним плыл, словно штандарт, епископский посох, несомый высоко над смятённым людом каким-то преданным дьяконом. Балдахин о четырех столбах, под которым на площадь доставили что-то или кого-то, раскорячив колья, погружался в толпу, словно тонущий атлантический лайнер. Под медную музыку в площадь приливной волной втекал кавалерийский отряд, сверкая красками, лязгая оружием, помавая перьями,

будто вожди индейских племен, и мечи воинов взлетали и опускались, как рычаги каких-то странных машин. Покинутая горсткой служек, заслонивших ее при совершении последних обрядов, Гвиневера стояла среди этой бури, словно маяк. В белой рубашке, привязанная к столбу, она оставалась недвижимой в центре бешеной круговерти. Она как будто плыла над всеми. Бой кипел у ее ног.

— Как он управляется со шпорами и уздой!

— Ни у кого больше нет такого натиска, как у него.

— Ох, бедная стража! Артур заламывал руки.

— Там кто-то рухнул.

— Это Сегварид.

— Какая схватка!

— Его натиск, — пылко промолвил Король, — всегда был неотразимым, всегда! Ах, какой выпад!

— А вон и сэр Пертилоп упал.

— Нет. Это Перимон. Его брат.

— Смотрите, как блещут мечи на солнце. Какие краски! Хороший удар, сэр Гиллимер, хороший удар!

— Нет-нет! Посмотрите на Ланселота. Смотрите, как он наскакивает и напирает. Вон Агловаль слетел с коня. Смотрите, он приближается к Королеве.

— Приам его остановит!

— Приам — чепуха! Мы победим, Гавейн, — мы победим!

Гавейн, огромный, сияющий, обернулся.

— Это какие такие «мы»?

— Ну ладно, ладно, — пусть будет «они», глупый вы человек. Сэр Ланселот, разумеется. Вот и весь ваш сэр Приам.

— Сэр Боре упал.

— Пустяки. Они в минуту посадят его на коня. Вон он, совсем близко от Королевы. Нет, вы только взгляните! Он привез ей платье и плащ.

— Еще бы!

— Мой Ланселот не позволил бы, чтобы мою Гвиневеру видели в одной лишь рубашке!

— Да ни за что на свете!

— Он набрасывает их на нее.

— Она улыбается.

— Благослови вас обоих Господь, милые вы создания! Но пешие воины, бедные пешие воины!

— По-моему, можно сказать, что бой кончен.

— Ведь он не станет убивать больше людей, чем требует необходимость? В этом мы можем на него положиться?

— Разумеется, можем.

— Это не Дамас там под лошадьёю?

— Да. Дамас всегда носил красный плюмаж. По-моему, они отходят. Быстро управились!

— Гвиневера уже на коне.

Вновь пропела труба, но сигнал был другой.

— Да, должно быть отходят. Это сигнал отступления. Господи Боже мой, вы посмотрите, какая там неразбериха!

— Я только надеюсь, что пострадали немногие. Вы отсюда не видите? Может быть, нам следует выйти, оказать им помощь?

— Отсюда глядеть, так поверженных вроде немало, — сказал Гавейн.

— Моя верная стража.

— Около дюжины.

— Мои отважные воины! И это тоже моя вина!

— Вот не вижу я, кого и в чем тут можно винить, — разве братца моего, так он уже мертв. Да, это уже последние его ребята отходят. Видите Гвиневеру? Вон там, над всей этой давкой.

— Может, помахать ей рукой?

— Не надо.

— Вы думаете, это будет нехорошо?

— Нехорошо.

— Ну что же, тогда лучше, наверное, не махать. А хорошо бы все же что-нибудь сделать. Как-никак она уезжает.

Гавейн, ощутив прилив нежности, резко повернулся к Королю.

— Дядя Артур, — сказал он, — вы все-таки великий человек. Но говорил же я вам — все кончится, как следует.

— И вы великий человек, Гавейн, — хороший человек и добрый.

И радуясь, они расцеловались на старинный манер, в обе щеки.

— Ну вот, — повторяли они. — Ну вот.

— А теперь что станем делать?

— Это как скажете.

Старый Король огляделся вокруг, словно отыскивая, чем бы заняться. Бремя лет покинуло его вместе с признаками старческой дряхлости. Он распрямился. Румянец заиграл на щеках. Морщинки у глаз, казалось, лучились.

— Я думаю, что первым делом нам надлежит от души надраться.

— Отлично. Позовите пажа.

— Паж, паж! — закричал Король, высовываясь в дверь. — Куда ты, к дьяволу, запропастился? Паж! А вот ты где, шалопай, ну-ка, тащи сюда вино. Чем ты там занимался? Любовался, как сжигают твою хозяйку? Хорош, нечего сказать!

Довольный мальчишка взвизгнул и загрохотал каблуками вниз по лестнице, до середины которой он только-только поднялся.

— А потом, после выпивки? — поинтересовался Гавейн.

Весело потирая руки, Артур вернулся в залу.

— Пока не думал. Что-нибудь да подвернется. Вероятно, мы сможем уговорить Ланселота, чтобы он попросил о прощении, или придем еще к какому-нибудь соглашению с ним, — и тогда он вернется. Он мог бы сказать, что пришел к Королеве в опочивальню, потому что она призвала его, чтобы вознаградить за Мелиагранса, ибо он выступал как ее защитник, а она хотела избежать пересудов касательно вознаграждения. А потом ему, конечно, пришлось ее спасать, поскольку он-то знал, что она невиновна. Да, я думаю, что-то в этом роде мы и устроим. Только в будущем им придется вести себя поаккуратней.

Но восторженное состояние покидало Гавейна гораздо быстрее, чем его дядю. Он заговорил медленно, не отрывая глаз от пола.

— Сомневаюсь я. — начал он. Король взгляделся в него.

— Сомневаюсь я, что все удастся уладить, покамест жив Мордред.

Бледной рукой подняв завесу, на пороге возникло призрачное существо, наполовину облаченное в доспехи, с незащищенным предплечьем в люльке повязки.

— Покамест жив Мордред, — сказало оно с драматической горечью, достойной мастера сценической реплики, — этому не бывать никогда.

Артур в удивлении обернулся. Он глянул в горячечные глаза сына и в тревоге шагнул к нему.

— Но Мордред!

— Но Артур.

— Да как ты смеешь так разговаривать с Королем? — рявкнул Гавейн.

— А ты вообще молчи.

Его лишенный выражения голос остановил Короля на середине пути. Но он уже снова собрался с духом.

— Войдите, Мордред, — дружелюбно сказал он. — Мы знаем, побоище было страшное. Мы видели его из окна. И все-таки хорошо ведь, что ваша тетя теперь в безопасности, а правосудие соблюдено во всех отношениях».

— Побоище было страшное.

Голос его был голосом автомата, но исполненным глубокого значения.

— Пешие воины...

— Плевать.

Гавейн, словно механизм, поворачивался к сводному брату. Он повернулся всем телом.

— Мордред, — спросил он с тяжким акцентом. — Мордред, где ты оставил сэра Гарета?

— Где я оставил их обоих?

Рыжеволосый рыцарь разразился быстрым потоком слов.

— Нечего меня передразнивать, — заорал он. — Что ты скрипишь, как попугай? Говори, где они!

— Ступай и поищи их, Гавейн, среди людей на площади.

Артур начал было:

— Гарет и Гахерис...

— Лежат на рыночной площади. Их трудно узнать, столько на них крови.

— Но ведь они невредимы, верно? Они же были без оружия. Они не ранены?

— Они мертвы.

— Чушь, Мордред.

— Чушь, Гавейн.

— На них же не было доспехов! — протестующе воскликнул Король.

— На них не было доспехов.

Гавейн произнес, с угрозой подчеркивая каждое слово:

— Мордред, если окажется, что ты солгал...

— ...то добродетельный Гавейн зарежет последнего из своих родичей.

— Мордред!

— Артур, — отозвался он. Он повернул к Королю каменное лицо, являющее безумную смесь злобы, вкрадчивости и отчаяния.

— Если это правда, это ужасно. Кому могло прийти в голову убить Гарета, да еще безоружного?

— Кому?

— Они и сражаться-то не собирались. Они пошли и встали в дозор, потому что я им приказал. К тому же, Ланселот — лучший друг Гарета. Да и со всем родом Бана мальчик был дружен. Это кажется мне невозможным. Вы уверены, что не ошиблись? Голос Гавейна внезапно наполнил комнату:

— Мордред, кто убил моих братьев?

— Действительно, кто? В неистовой ярости Гавейн ринулся к горбуну.

— Кто же, как не сэра Ланселот, о мой могучий друг.

— Лжец! Я должен сам их увидеть.

Тот же порыв, что бросил Гавейна к брату, вынес его, еще бурлящего гневом, из комнаты.

— Но, Мордред, вы уверены, что они мертвы?

— У Гарета снесено полголова, — безучастно отозвался Мордред, — он кажется удивленным. А лицо Гахериса лишено выражения, поскольку голова его разрублена надвое.

Король испытывал скорее недоумение, чем ужас. С грустью и удивлением он произнес:

— Ланс не мог этого сделать... Он любил их обоих. На них не было шлемов, он должен был их узнать. Он посвятил Гарета в рыцари. Он ни за что не совершил бы такого поступка.

— Разумеется, нет.

— Но вы говорите, что он это сделал.

— Я говорю, что он это сделал.

— Должно быть, это ошибка.

— Должно быть, это ошибка.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что чистый и бесстрашный Рыцарь Озера, которому вы позволили сделать из вас рогоносца и похитить вашу жену, позабавился перед тем, как отбыть восвояси, убив двух братьев, — двух безоружных людей, питавших к нему дружескую любовь.

Артур опустил на скамью. Маленький паж, посланный за вином и вернувшийся, согнулся в низком поклоне.

— Ваше вино, сэр.

— Унеси его прочь.

— Сэр Лукан Дворецкий спрашивает, сэр, нельзя ли ему помочь в переноске раненых, сэр, и нет ли у нас льняных повязок?

— Спроси у сэра Бедивера.

— Хорошо, сэр.

— Паж, — окликнул он уходившего мальчика.

— Сэр?

— Какие потери?

— Говорят, погибло двадцать рыцарей, сэр. Сэр Белианс Надменный, сэр Сегварид, сэр Грифлет, сэр Брандиль, сэр Агловаль, сэр Тор, сэр Гаутер, сэр Гиллимер, три брата сэра Рейнольда, сэр Дамас, сэр Приам, сэр Кэй Чужестранец, сэр Дриант, сэр Ламбегус, сэр Хермин, сэр Пертилоп.

— А Гарет и Гахерис?

— Я о них ничего не слышал, сэр. Захлебываясь словами и еще

продолжая свой бег, в комнату ворвался огромный рыжий рыцарь. Словно ребенок, он устремился к Артуру. Мешаясь срыданиями, изо рта его вылетали слова:

— Это правда! Правда! Я нашел человека, он видел, как все случилось. Бедный Гахерис и наш младший брат, Гарет, — он убил их обоих, безоружными.

И упав на колени, он зарылся рыжевато-белесой, словно осыпанной песком, головой в мантию старого Короля.

Через шесть месяцев, ярким зимним днем, началась осада Замка Веселой Стражи. Солнце сияло, посылая лучи под острым углом к северному ветру, обливая белизной заиндевевшие восточные скаты борозд на пашне. Снаружи замка шныряли в жесткой траве чибисы и скворцы. Лишенные листьев деревья стояли подобно скелетам, подобно схемам кровотока или нервной системы. Коровьи лепешки, попадаясь под ногу, гудели, как деревянные. Зима окрасила все в блеклую лишайниковую зелень, какую видишь на подушке зеленого бархата, много лет пролежавшей под солнцем. Стволы оголенных деревьев, совсем как подушку, устилал белесый пушок. А похоронные одеяния елей были покрыты им сверху донизу. В лужах потрескивал лед, и сам Замок Веселой Стражи возвышался над промерзлым рвом, как на картинке, освещенный бессильным солнцем.

Замок Ланселота не производил грозного впечатления. Старомодные твердыни Артуровых пращуров сменились сооружениями настолько нарядными, что ныне их и воображаешь с трудом. Не следует представлять их себе подобными тем разрушенным крепостям с крошащейся между камней известкой, какие мы видим сегодня. На самом деле, стены их покрывала штукатурка. В нее подмешивали желтую краску, отчего она слегка отливала золотом. Крытые черепицей, остроконечные, во французском вкусе, башенки замка теснились, возносясь над зубчатыми стенами во множестве самых неожиданных мест. Там были фантастические мостики, крытые наподобие Моста Вздохов, шедшие от часовни к какой-нибудь башне. Там были наружные лестницы, ведущие Бог весть куда, — может быть, в небеса. Каминные трубы, неожиданно воспаряли над навесными стрельницами. Стеклённые настоящим витражным стеклом окна, вознесенные повыше, туда, где им не грозила опасность, мерцали в сплошных некогда стенах. Флажки, распятия, горгульи, водостоки, флюгеры, шпили и звонницы усеивали покатые крыши, спадавшие то в одну, то в другую сторону, крытые где красной черепицей, где замшелой каменной плиткой. Это был не замок, а город. Легкое печенье вместо тяжелого пресного хлеба древнего Дунлоутеана.

Вокруг веселого замка раскинулся лагерь осаждающих. В те дни короли, снаряжаясь в очередную кампанию, брали с собой гобелены, украшавшие их дома, что служило мерой основательности их становища.



Шатры были красные, зеленые, клетчатые, полосатые. Некоторые — из шелка. Здесь, среди мешанины веревок и красок, шатровых столбов и высоких копий, шахматистов и маркитантов, гобеленовых интерьеров и золотой посуды, и обосновался Артур Английский, намереваясь взять своего друга измором.

Ланселот с Гвиневерой стояли в замковой зале у пылающего очага. Теперь огонь уж не разводили в середине покоя, предоставляя дыму самостоятельно выбираться сквозь верхние окна. В зале имелся настоящий камин, богато изукрашенный вырезанными по камню гербами и геральдическими щитодержателями Венвика, на решетке его тлела половина дерева. Мороз сделал землю слишком скользкой для коней, и потому в тот день стояло хоть и необъявленное, но перемирие.

Гвиневера говорила:

— Я не в состоянии представить себе, как ты мог это сделать.

— Да и я не в состоянии, Дженни. Я даже не помню, чтобы я это сделал, но только все говорят, что так оно и было.

— Ты совсем ничего вспомнить не можешь?

— Видимо, я распалился, да и за тебя испытывал страх. Вокруг была толчея, все махали оружием, рыцари пытались меня задержать. Пришлось прорубаться.

— Это так на тебя не похоже.

— Ведь не думаешь же ты, что я это сделал намеренно? — с горечью спросил он. — Гарет любил меня больше, чем родных братьев. Я был ему едва ли не крестным отцом. Ох, давай оставим это, ради всего святого.

— Не мучай себя, — сказала она. — По крайней мере бедному мальчику не приходится участвовать в том, что у нас происходит.

Ланселот задумчиво пнул тлеющий ствол. Он стоял, положив одну руку на каминную полку, и смотрел на мерцающие уголья.

— У него были голубые глаза. Он помолчал, уставясь в огонь.

— Когда он явился к Артуру, он не сказал, чей он сын, потому что ему пришлось убежать из дому, чтобы вообще попасть ко двору. Мать Гарета враждовала с Артуром и даже думать не могла о том, чтобы его отпустить. Но и он не мог держаться в стороне. Он мечтал о рыцарстве, жаждал почестей, романтических приключений. Вот он и сбежал к нам и не назвал своего имени. Он даже не просил, чтобы его посвятили в рыцари. Ему достаточно было находиться в центре великих событий, пока не представится случай показать свою силу.

Ланселот подпихнул на место отвалившуюся ветку.

— Кэй отправил его работать на кухню и дал ему прозвище:

«Прекрасные Руки». Кэй всегда был грубияном. А потом... как давно это было.

В тишине — оба стояли, опершись локтем о полку и выдвинув одну ногу поближе к огню, — сквозь решетку спадал невесомый пепел.

— Я время от времени давал ему разную мелочь, чтобы он себе купил что-нибудь. Кухонный паж Бомейн. Он по какой-то причине привязался ко мне. Я своею рукой посвятил его в рыцари.

Он с удивлением посмотрел на свои пальцы, двигая ими, словно никогда не видел их прежде.

— Потом он сражался во время приключения с Зеленым Рыцарем, и мы узнали, какой он великолепный воин...

— Добрый Гарет, — сказал он почти с изумлением, — и этой же самой рукой я убил его, потому что он не пожелал выйти против меня в доспехах. До чего все-таки жуткие создания — люди! Стоит нам, гуляя в полях, увидеть цветок, как мы палкой сшибаем ему голову. Именно так и погиб Гарет.

Гвиневера в расстройстве коснулась виноватой руки.

— Ты не мог этого предотвратить.

— Я мог это предотвратить. — Ланселота охватили его всегдашние религиозные терзания. — То была моя вина. Ты права, это было на меня не похоже. Да, то была моя вина, моя вина, моя горестная вина. Все потому, что я в этой давке рубил направо и налево.

— Но ты же должен был спасти меня.

— Да, но я мог рубиться только с рыцарями в доспехах. А я вместо того разил полубезоружных пеших ратников, и защититься-то не способных. Я был укрыт с головы до ног, а у них — всего-то навсего кожаные латы да пики. Но я разил их, и Бог наказал нас за это. Именно из-за того, что я забыл рыцарские обеты, Бог заставил меня убить бедного Гарета, да и Гахериса тоже.

— Ланс! — резко сказала она.

— А теперь над нами обоими разразились адские бедствия, — продолжал он, отказываясь слушать. — Теперь я вынужден биться с моим Королем, который посвятил меня в рыцари и научил всему, что я знаю. Как мне биться с ним? Как мне биться даже с Гавейном? Я убил трех его братьев. Разве могу я добавить к ним еще одного? А Гавейн теперь вцепится в меня мертвой хваткой. Он уже никогда меня не простит. И я его не виню. Артур простил бы нас, но Гавейн ему не позволит. И мне приходится сидеть, словно трусу, осажденным в этой норе, — никто, кроме Гавейна, не хочет сражаться, но они то и дело выходят под стены с

фанфарами и поют:

Рыцарь, чье имя Измена, Выйди сражаться за стены. Гей! Гей! Гей!

— Так ли уж важно, что они там поют. От этого пения ты не становишься трусом.

— А вот мои же собственные воины начинают так думать. Боре, Бламур, Блеоберис, Лионель, — они постоянно упрашивают меня выйти из замка на бой. Но если я выйду, что тогда будет?

— Насколько я в состоянии судить, — сказала она, — будет то, что ты разобьешь их, а после отпустишь, попросив вернуться домой. Все только уважают тебя за твою доброту.

Он спрятал лицо за изгибом локтя.

— Ты знаешь, что случилось во время последнего боя? Боре схватился на копьях с самим Королем и выбил его из седла. Он спешился и стоял над Артуром с обнаженным мечом. Я увидел, что происходит, и поскакал туда, как безумный. Боре сказал: «Не положить ли мне конец этой войне?» — «Не смей, — закричал я, — под страхом смерти, не смей». И после я посадил Артура обратно в седло и умолял его, на коленях умолял отправиться восвояси. Артур заплакал. Глаза его наполнились слезами, он смотрел на меня и молчал. Он постарел. Он не хочет воевать с нами, но не может противиться Гавейну. Гавейн был прежде на нашей стороне, но я в моей греховности перебил его братьев.

— Забудь ты свою греховность. Всему виной ярость Гавейна и коварство Мордредов.

— Если бы дело было только в Гавейне, — пожаловался он, — еще оставалась бы надежда на мир. Он человек внутренне благородный. Достойный человек. Но рядом с ним все время стоит Мордред, растревляет его намеками и не дает ему забыть о своем несчастье. А тут еще вечная ненависть между галлами и гаэлами и Мордредов Новый Порядок. И конца этому я не вижу.

В сотый раз Королева предложила:

— Может быть, мне стоит вернуться к Артуру и отдаться ему на милость?

— Мы же предлагали им это, и они ответили отказом. И какой в этом смысл? Скорее всего, они в конце концов просто сожгут тебя на костре.

Оставив камин, она отошла к амбразуре большого окна. Внизу за окном лежал погруженный в свои заботы лагерь осаждающих. Какие-то крошечные солдаты играли на льду пруда в «Лису и гусей». Их ясный смех долетал сюда, отделенный расстоянием от кувырков, которые его вызывали.

— А война все идет и идет, — сказала она, — и убивают на ней пеших

солдат, а не рыцарей, и никто на это не обращает внимания.

— А война все идет.

Не поворачиваясь, она заметила:

— Пожалуй, я все же рискну и вернусь, мой милый. Пусть даже меня сожгут, это все-таки лучше, чем смута.

Он перешел за нею к окну.

— Дженни, я бы отправился с тобой, если бы в этом был хоть какой-то смысл. Мы могли бы поехать вместе, позволить им отрубить нам головы, если бы это давало хоть крошечную надежду остановить войну. Но все уже обезумели. Пусть мы с тобою сдадимся, все равно Боре, Эктору и остальные продолжают раздор, — даже если мы будем убиты. Ныне все поднялось на поверхность, сотни поводов для вражды — вспомни тех, кто погиб на рыночной площади, и тогда, на лестнице, вспомни полвека правления Артура. Скоро я уже не смогу их удерживать, даже при нынешнем положении. Эб Достославный, Вилар Доблестный, Уррий Венгерский — они станут мстить за нас, и будет только хуже. Уррий страх как мне благодарен.

— Похоже, вся наша цивилизация сошла с ума, — сказала она.

— Да, и похоже, мы сами ее до этого довели. Боре, Лионель и Гавейн ранены, и все вокруг жаждут крови. Мне приходится совершать с моими рыцарями вылазки и носиться по полю, делая вид, что я наношу удары, и в конце концов на меня либо выталкивают Артура, либо налетает Гавейн, и тогда приходится прикрываться щитом и обороняться, ведь разить их в ответ мне невозможно. А мои люди видят это и говорят, что, не утруждая себя, я лишь затягиваю войну, отчего они терпят урон.

— То, что они говорят, — правда.

— Разумеется, правда. Но если не это, остается только убить и Артура, и Гавейна, а как я могу это сделать? Если б Артур позволил тебе вернуться и сам отошел бы отсюда, все было бы лучше, чем теперь.

Лет двадцать назад Гвиневера вспылила бы, услышав столь бестактное предположение. Ныне же, в их осеннюю пору, она лишь улыбнулась.

— Дженни, то, что я говорю, ужасно, но это правда.

— Конечно, правда.

— И выходит, что мы обращаемся с тобой, будто с марионеткой.

— Все мы марионетки.

Он прислонил голову к холодному камню амбразуры и стоял так, пока она не взяла его за руку.

— Не думай об этом. Просто оставайся в замке и будь терпелив. Может быть, Бог о нас позаботится.

— Ты уже говорила это однажды.

— Да, за неделю до того, как они нас поймали.

— А не захочет Бог, — с горечью сказал он, — так останется уповать на Папу.

— На Папу!

Он поднял взгляд.

— Что это ты?

— Послушай, Ланс, то, что ты сказал... А ну как Папа вынужден будет прислать обеим сторонам буллы, угрожая нам отлучением, если мы не придем к соглашению? Что если мы попросим о папском решении? Борсу и прочим придется его принять. И тогда, конечно...

Он не отрывал от нее глаз, пока она подыскивала слова.

— Он может назначить епископа Рочестерского, чтобы он выработал условия мира...

— Да, но какие условия?

Однако идея уже захватила Гвиневеру и воодушевила ее.

— Ланс, какими бы они ни были, нам с тобой их придется принять. Пусть даже низкие... пусть даже позорные для нас, для народа они будут означать мир. И у наших рыцарей не найдется извинений для продолжения раздора, потому что они обязаны будут подчиниться Церкви.

Ланселот не мог найти нужных слов.

— Ну и?..

Она обратила к нему лицо, исполненное покоя и облегчения, — деятельное, лишенное всего показного, лицо, какое видишь у женщины, когда она нянчит ребенка или занимается чем-то еще, требующим умения и сноровки. Он не знал, что можно возразить такому лицу.

— Мы можем завтра же отправить гонца.

— Дженни!

Ему казалась невыносимой мысль о том, что она, уже далеко не девочка, позволяет им передавать себя из рук в руки, мысль о том, что он должен ее потерять, как и о том, что терять ее он не должен. От всего, что наполняет людские жизни, от их любви, от всех его прежних верований, у него не осталось ничего, кроме позора. Она поняла и это и в этом тоже ему помогла. С нежностью она поцеловала его. Снаружи ежедневный хор затянул свое:

Рыцарь, чье имя Измена, Выйди сражаться за стены. Гей! Гей! Гей!

— Ну их, — сказала она, глядя его белые волосы. — Не слушай. Мой Ланселот должен остаться в замке, и все закончится хорошо.

— Итак, Его Святейшество заключил между ними мир без всякого их участия, — со злостью сказал Мордред.

— Угу.

Они сидели в Судебной Зале, Гавейн и Мордред, ожидая начала последней стадии переговоров. Оба были в черном, но с тем странным различием, что Мордред выглядел в нем великолепно, напоминая Гамлета, тогда как Гавейн больше походил на могильщика. С подобной театральной простотой Мордред начал одеваться, когда возглавил популярную ныне партию. Целью ее было установление некоего подобия национального правления плюс гаэльская автономия и избиение евреев — в виде отщипывания за смерть мифического святого по имени Хью Линкольнский. В партии, распространившей свое влияние по всей стране, состояли уже тысячи членов, носивших партийный значок с изображением алого кулака с зажатой в нем розгой и называвших себя «Хлыстунами». Старшего же брата, надевшего партийную форму лишь для того, чтобы сделать приятное младшему, облакало домотканое черное сукно — беспросветный мрак искреннего траура.

— Смешно сказать, — продолжил Мордред, — но если б не Папа, мы бы тут никогда не увидели такого красивого шествия — у всех по оливковой ветви в руке, а целомудренные влюбленные сплошь в белых одеждах.

— Да, хорошее было шествие.

Гавейн, чей разум на извилистых путях иронии чувствовал себя неуверенно, принял насмешку за честное описание события.

— Это верно, спектакль удался на славу.

Старший брат шевельнулся, словно испытывая неловкость и пытаясь расположиться поудобнее, но вместо того просто вернулся к началу разговора.

Он произнес неуверенно, как бы задавая вопрос или излагая просьбу:

— Ланселот говорит в письме, будто убил нашего Гарета по ошибке. Говорит, что не видел его.

— Это вполне в духе Ланселота — рубить безоружных направо-налево, не вглядываясь, кто они и что они. Он всегда этим славился.

На сей раз ирония была настолько увесистой, что даже Гавейн ее ощутил.

— Вот и я мыслю, что это на него не похоже.

— Не похоже? Разумеется, не похоже. Он же вечно изображал *реух chevalier*, щадившего людей, — ни разу не убившего человека, который не устоял против него. Тем и прославился. И ты полагаешь, что он вдруг ни с того ни с сего отбросил притворство и принялся крушить безоружных?

С трогательной потугой на беспристрастность Гавейн произнес:

— Вроде, не было ему причины их убивать.

— Причины? А разве Гарет не брат нам? Он убил его из мести, чтобы отплатить нам, всей нашей семье, потому что это мы застукали его с Королевой.

И с особым тщанием выбирая слова, Мордред добавил:

— Все потому, что Артур любит тебя, и Ланселот завидует твоему влиянию. Ему хотелось ослабить Оркнейский клан, он все отлично продумал.

— Он ослабил и свое положение тоже.

— А кроме того, он завидовал Гарету. Боялся, что наш брат начнет наступать ему на пятки. Наш Гарет ему подражал, а это не устраивало *реух chevalier*. Нельзя же позволить, чтобы существовало целых два безупречных рыцаря.

Судебную Залу уже подготовили к пышной заключительной церемонии. Сейчас в ней находились лишь двое мужчин, и Зала казалась голой. Братья сидели немного странно — один позади другого — на ступеньках, ведущих к трону, то есть не видя лиц друг друга. Мордред смотрел Гавейну в затылок, Гавейн смотрел в пол. Сдавленным голосом он произнес:

— Гарет был лучшим из нас.

Если бы он сейчас резко обернулся, его удивила бы напряженная пристальность, с какой Мордред вглядывался в него. Выражение Мордредова лица вовсе не сочеталось с музыкой, звучащей в его голосе. Человек, внимательно приглядевшийся к Мордреду, мог бы заметить, что в повадках его появилась в последние шесть месяцев некая странность.

— Гарет был славный малый, — произнес Мордред, — и угораздило же его пасть от руки именно того человека, которому он так верил.

— Это научит меня никогда не верить южанам. Мордред повторил, почти неуловимо подчеркнув замену местоимения:

— Да, это нас научит.

Старый деспот обернулся. Он схватил белую руку брата, стиснул ее и, запинаясь, заговорил.

— Я все время думал, что весь вред от Агравейна, — от Агравейна и

от тебя. Я думал, что вы предубеждены против сэра Ланселота. Мне стыдно за эти мысли.

— Кровь — не водица.

— Это так, Мордред. Можно болтать про идеалы, про правое и неправое и про все такое, — а под конец все сводится к тому, кто чей сородич. Я ругал Гарета, когда он забирался в огородик святого отца, там, у обрыва...

Голос его задрожал и прервался, братья молчали, пока худосочный Мордред не сказал, возвращая Гавейна на прежний путь:

— В детстве волосы у него были такие светлые, что казались белыми.

— Кэй прозвал его «Прекрасные Руки».

— Кэй хотел обидеть его.

— Хотел, а все же сказал правду. Руки у Гарета были красивые.

— А теперь он лежит в могиле.

Лицо Гавейна вспыхнуло так, что брови стали на нем незаметны. На висках его вздулись вены.

— Да проклянет их Господь! Я не приму этого мира. Я их не прощу. Почему Король Артур норовит загладить содеянное? И зачем в это лезет Папа? Не их братьев убили — моих, и клянусь всемогуществом Божиим, я отомщу!

— Ланселот проскользнет у нас между пальцев. Он человек изворотливый, его не ухватишь.

— Не проскользнет. На этот раз он у нас в руках. Корнуоллы слишком долго и много прощали.

Мордред поерзал на ступеньках.

— Ты когда-нибудь размышлял о том, что принес Стол Оркнею и Корнуоллу? Отец Артура убил нашего деда. Сам Артур совратил нашу мать. Ланселот убил трех наших братьев, не считая Флоренса и Ловея. А мы с тобой торчим здесь, торгуя нашей честью, чтобы примирить двух англичан. Тебе это не кажется трусостью?

— Нет, это не трусость. Папа может заставить Короля принять Королеву обратно, но о сэре Ланселоте в его буллах нету ни слова. Мы обещали ему неприкосновенность, чтобы он мог привезти сюда женщину, и мы также позволим ему уйти отсюда. Но после...

— А зачем же сейчас-то его отпускать?

— Затем, что ему обещана охранная грамота. Господь запрещает трогать его, Мордред, мы все-таки рыцари!

— Да, и мы не должны прибегать к нечистому оружию, даже если наши враги прибегают к нему.



— Вот, правильно. Пусть кабан побегает, дадим ему это право, а сами будем гнать его и загоним до смерти. Артур слабеет: он исполнит нашу волю.

— Печально видеть, — вымолвил сэр Мордред, — до чего ослабла хватка несчастного Короля с тех нор, как началась вся эта история.

— Да, это печально. Но он понимает различие между правым и неправым.

— Это для него что-то новое.

— Ты говоришь о слабости?

— Как быстро ты все схватываешь.

Быть саркастичным с Гавейном не составляло ему труда — все равно, что передразнивать слепого.

— Нельзя сидеть на всех стульях сразу. Ему вообще не стоило водиться с этим предателем.

— Как и брат в жены Гвен.

— Да уж, тут оба они виноваты. Не мы искали ссоры.

— Что верно, то верно.

— Король обязан отстаивать правосудие. Даже если Его Святейшество заставят Короля снова принять эту женщину на свое ложе, у нас остаются наши права на сэра Ланселота. Он совершил великое предательство, когда увез Королеву, так же как и когда убил наших братьев.

— Любые права.

Грузный рыцарь снова схватил своего брата за руку, казавшуюся еще бледнее в заскорузлой лапе могильщика, и сказал, с трудом подбирая слова:

— Это так горько и больно, когда остаешься совсем один.

— Мы дети одной матери, Гавейн. — Да!

— И Гарету она тоже была матерью...

— А вот и Король.

Торжественная церемония примирения достигла завершающей стадии. В замковом дворе запели трубы, и по лестнице дворца потекли вверх сановники Государства и Церкви. Придворные, епископы, герольды, пажи, судьи и просто зрители, беседуя, вливались в Залу. С их появлением гобеленовый куб наполнился красками, словно пустая ваза цветами. Его украсили дамы, чьи казавшиеся голыми лица венчались уборами в виде полумесяцев или длинных конусов или куафюраами, столь же удивительными, как у Герцогини из «Алисы в Стране Чудес». В ярких корсажах с талиями где-то под мышками, с руками, укрытыми в спадающие складками рукава, в достающих до полу юбках, в одеяниях из триполитанской верблюжьей шерсти, тафты или домодельного красного

сукна, нежные существа проплывали к своим местам, вея ароматами мирра и меда (которым они полоскали рты). Их кавалеры, молодые оруженосцы, одетые по последней моде (многие из них уже состояли в «Хлыстунах» и носили значок Мордредра), мелко перебирали ногами в долгоносых туфлях, в коих совершенно невозможно было взойти по ступеням. У подножия лестницы туфли приходилось снимать, и дальше наверх их уже подносили пажи. Первое, что в этих молодых людях бросалось в глаза, — это их ноги в высоких чулках: пришлось даже принять особый закон, регулирующий покроем их кафтанов, каковым предписано было иметь длину, достаточную для сокрытия ягодиц. За ними последовали более уважаемые члены Королевского совета в удивительных шляпах, из коих иные походили на стеганные колпаки, под которыми настаивается завариваемый чай, иные на тюрбаны, иные на птичьи крылья, а иные и на муфты. Советников облекали складчатые стеганные мантии с высокими плечеными воротниками, с оплечьями и поясами в драгоценных камнях. Тут были и клирики в аккуратных шапочках, согревавших тонзуры, в простых одеяниях, столь непохожих на наряды мирян. Тут был и заезжий кардинал в замечательной шляпе с кисточкой, и по сию пору украшающей писчую бумагу Вулзи-Колледжа в Оксфорде. Тут были меха и опушки всех сортов, включая красивый ромбовидный узор, составленный из кусочков меха белых и черных ягнят. Шум от разговоров стоял такой, как от стаи скворцов.

Но то была лишь первая часть торжественного шествия. О начале второй предупредили все те же трубы, на сей раз пропевшие ближе. Затем в Залу вошло некоторое число цистерианских монахов, секретарей, дьяконов и прочих служителей церкви, — сплошь обремененных чернилами, кои получали посредством вываривания терновой коры, пергамента-ми, тонким песком, буллами, перьями и перочинными ножиками, каковые всякий писец, работая, обыкновенно держит в левой руке. Также имелись у них счетные палочки и протоколы последних переговоров.

Следом в Залу вступил епископ Рочестерский, облеченный званием папского нунция. Он явился во всем подобающем нунцию великолепии, хоть и оставил внизу свой паланкин. Это был пожилой господин в шелковистых власах, в ризах, с епископским посохом, в стихаре и с перстнем епископа, — учтивый, сознающий свою духовную власть священнослужитель.

И вот наконец трубы прозвучали у самых дверей, и в Залу вступила Англия. В тяжелой горностаевой накидке, покрывавшей его плечи и левую руку и спускавшейся узкой полоской вдоль правой, в бархатном синем

плаще и ошеломительного вида короне, обремененный величием и поддерживаемый, буквально поддерживаемый под руки особо назначенными для того чиновными лицами, Король прошествовал к расположенному на возвышении, накрытому золотым балдахином с вышитыми по нему драконами вставшими красными трону, на ступенях которого завиделись сквозь расступившуюся толпу встречающие его Гавейн и Мордред. Доставленный к трону, Король тяжело осел на него. Стоявший до этого времени нунций также уселся на белый с золотом трон, что стоял насупротив королевского. Гул затих.

— Можем ли мы начать?

Благозвучный, словно в храме, голос Рочестера разрядил напряжение:

— Церковь готова.

— Государство тоже.

Это громыхнул Гавейн — несколько вызывающим тоном.

— Осталось ли что-либо, что надлежит уладить прежде, чем они войдут?

— Все улажено по-честному.

Рочестер обратил взгляд к Властителю Оркнея.

— Этим мы обязаны сэру Гавейну.

— К вашим услугам.

— В таком случае, — произнес Король, — я полагаю, мы можем известить сэра Ланселота, что Двор ожидает его.

— Бедивер, будьте любезны послать за подсудимыми.

Все уже заметили, что у Гавейна появилось обыкновение говорить от имени трона, и что Артур ему не препятствует. Однако папский посланник подобной смиренности не питал.

— Одну минуту, сэр Гавейн. Я обязан указать, что Церковь не считает этих людей подсудимыми. Миссия Его Святейшества, каковую я представляю, это миссия мира, но не мщения.

— Церковь может рассматривать этих людей, как ей представляется верным. Мы здесь для того, чтобы исполнить повеление Церкви, но исполняем мы оное так, как умеем. Приведите сюда подсудимых.

— Сэр Гавейн...

— Протрубите сигнал ко входу Ее Величества. Заседание Суда начинается.

Зазвучала музыка, ей, словно в дурном спектакле, ответила музыка снаружи, и все головы повернулись к дверям.

С шелестом шелков и колыханием мехов в середине Залы образовался проход. За открывшейся аркой дверей стояли, ожидая своего выхода,

Ланселот с Гвиневерой.

Было что-то трогательное в пышности их одеяний — словно они нарядились для участия в шараде, не вполне для нее подходя. Облачения их были белыми с золотым шитьем, и Королева, уже больше не юная и прекрасная, держала оливковую ветвь без всякой грациозности. Они неловко шли по проходу, словно старательные актеры, старательные, но лишенные актерских способностей. Дойдя до трона, они преклонили колени.

— Мой достославный Король.

Едва ощутимый проблеск взаимного расположения был мгновенно уловлен Мордредом.

— Очаровательно!

Ланселот взглянул на старшего брата.

— Сэр Гавейн.

Оркнеец показал ему спину. Ланселот повернулся к Церкви.

— Господин мой Рочестер.

— Добро пожаловать, сын мой!

— По Королевскому повелению и по повелению Папы я привез Королеву Гвиневеру.

Наступила опасная тишина, которую никто не решался нарушить своими речами.

— И стало быть, долг мой, раз никто не желает мне отвечать, состоит в том, чтобы подтвердить невиновность Королевы Английской.

— Лжец!

— Я явился сюда сам, дабы заявить, что Королева блага и нежива, верна Королю Артуру и чиста перед ним, и это я готов доказать всякому, кто оспорит меня, исключая только Короля или сэра Гавейна. И это мой долг перед Королевой — сделать подобное предложение.

— Святой Отец повелел нам принять ваше предложение, сэр Ланселот.

И во второй раз воодушевление, нараставшее в Зале, было разрушено Оркнейской партией.

— Тьфу на твои хвастливые речи! — крикнул Гавейн. — Что до Королевы, то пусть она получит прощение и живет здесь. Но ты, коварный и трусливый рыцарь, за что было тебе убивать моего брата, который любил тебя сильнее, нежели весь род наш?

Оба великих воина, не заметив того, перешли на высокий язык, отвечающий и этому месту, и страстям, которые ими владели.

— Бог видит, сэр Гавейн, что извинения мне не помогут. Я предпочел бы скорее убить моего племянника, сэра Борса. Но я не видел их, Гавейн, и

заплатил за это!

— Ты совершил это из ненависти ко мне и к Оркнею!

— Сердце мое, — ответил Ланселот, — скорбит о том, что вас заставили думать так, господин мой сэра Гавейн, ибо я знаю, что пока вы против меня, между мною и Королем согласию не бывать.

— Истинно сказано, Ланселот. Ты явился сюда с охранным ручательством, дабы привезти назад Королеву, но отсюда уйдешь как убийца, каков ты и есть.

— Если я убийца, господин мой, тогда да простит меня Бог. Но я никогда не убивал коварными ухищрениями.

Ланселот прибегнул к этому доводу без какой-либо задней мысли, но Гавейн усмотрел в нем больше того, нежели он содержал. Стиснув кинжал, Гавейн воскликнул:

— Я понял твой намек! Ты сумеешь сэра Ламорака...

Епископ Рочестерский поднял руку в перчатке.

— Гавейн, не могли бы мы отложить эти пререкания до другого раза? Наша прямая задача — восстановить Королеву в ее правах. Не сомневаюсь, что сэра Ланселот желал бы объяснить причины возникновения раздора, так чтобы Церковь могла скрепить ее возвращение на престол.

— Благодарю вас, господин мой.

Гавейн свирепо взирал на Ланселота, пока усталый голос Короля не побудил разбирательство двигаться дальше. Как-то неуклюже оно продвигалось, рывками.

— Вас застали у Королевы.

— Сэр, я был зван к госпоже моей, Королеве, а для чего, я не знал; но едва только я закрыл за собой дверь Королевиных покоев, как тотчас же сэра Агравейн и сэра Мордред стали бить в нее, называя меня рыцарем-изменником и трусом.

— Они правильно называли тебя.

— Господин мой сэра Гавейн, в той схватке им не удалось выказать себя правыми. Я же ныне говорю в защиту Королевы, но не моей чести.

— Хорошо, сэра Ланселот, хорошо.

Рыцарь, Совершивший Проступок, со спокойной грацией повернулся к своему старейшему другу, к первому человеку, которого он полюбил. Он оставил язык рыцарства, перейдя на простую речь:

— Разве нельзя нас простить? Разве не можем мы вновь стать друзьями? Мы вернулись сюда в раскаянии, Артур, хотя и не имели нужды возвращаться. Неужели ты не помнишь прежних дней, когда мы сражались бок о бок и были друзьями? Если ты явишь нам милосердие, все содеянное

зло удастся исправить, буде сэр Гавейн покажет к тому добрую волю.

— Король являет нам правосудие, — ответил рыжий рыцарь. — И разве ты явил милосердие моим братьям?

— Я являл милосердие всем вам, сэр Гавейн. И смело скажу, что я ничуть не хвастаюсь, говоря, что многие в этой зале обязаны мне свободой, если не жизнью. Я и прежде, из-за иных наветов, сражался за Королеву, как же было мне не сразиться, когда беда грозила ей из-за меня? И за вас я также сражался, сэр Гавейн, и спас вас от постыдной смерти.

— И при всем при том, — промолвил Мордред, — ныне из всех Оркнейцев уцелели лишь двое.

Гавейн резко вскинул голову.

— Король пусть решает, как ему угодно. Я же принял решение шесть месяцев назад, когда нашел сэра Гарета, залитого кровью — и безоружного.

— Видит Бог, я желал бы, чтобы он был в доспехах, ибо тогда он мог бы выстоять против меня. Он мог бы убить меня и спасти нас всех от этих несчастий.

— Великодушная речь.

Старый рыцарь воскликнул с внезапной страстностью, обращаясь ко всем, кто согласен был его выслушать:

— Почему же вам так хочется верить, что я желал его смерти? Я посвятил Гарета в рыцари. Я любил его. В тот миг, как я услышал о его смерти, я понял, что вы меня никогда не простите. Я понял, что всем моим надеждам конец. Убивать сэра Гарета было не в моих интересах.

Мордред прошептал: «Не от души, стало быть, убивал».

Ланселот сделал последнюю попытку образумить Гавейна.

— Гавейн, простите меня. От того, что я сделал, сердце мое обливается кровью. Я знаю, как вам больно, потому что и мне больно тоже. Может быть, если я принесу покаяние, вы позволите миру вернуться в нашу страну? Не вынуждайте меня сражаться для спасения моей жизни, но позвольте мне совершить паломничество во имя Гарета. Я выйду из Сандуича в одной рубахе и пройду босой до Карлайля, закладывая часовню в память о нем через каждые десять миль.

— Мы полагаем, — ответил Мордред, — что кровь Гарета не искупается сооружением часовен, сколь бы ни были они милы сердцу епископа Рочестерского.

Терпение старого рыцаря лопнуло.

— Придержите язык!

И тут же взъярился Гавейн.

— Веди себя вежливо, ты, убийца, или мы заколем тебя прямо у ног

Короля!

— Для этого потребуется больше. Снова вмешался нунций.

— Сэр Ланселот, прошу вас. Что бы ни происходило, но пусть хоть кто-то из нас сохранит должное терпение и достоинство. Сядьте, Гавейн. За кровь сэра Гарета было предложено искупление, посредством которого, возможно, удастся положить конец войне. Мы ждем вашего ответа.

Наступило выжидательное молчание, и седой гигант заговорил еще более резко:

— Я выслушал речи сэра Ланселота и его щедрые посулы, но он убил моих братьев. Этого я ему никогда не прощу, и в особенности его предательства по отношению к моему брату сэру Гарету. И если мой дядя, Король Артур, пожелает помириться с ним, тогда Король лишится моей службы и службы всех гаэлов. Сколько бы мы тут не толковали, мы знаем правду. Этот человек отъявленный изменник и Королю, и мне.

— Никто из назвавших меня изменником, Гавейн, не пережил своего обвинения. Что до Королевы, я все объяснил.

— С этим покончено. Я не позволяю себе выпадов против женщины, если могу без этого обойтись. Я говорю сейчас о приговоре, который вынесен будет тебе.

— Если это приговор Короля, я его принимаю.

— Король уже согласился со мной, до твоего прихода.

— Артур...

— Обращайся к Королю по титулу.

— Сэр, это правда?

Но старик лишь поник головой.

— По крайней мере дайте мне услышать об этом из уст Короля!

Мордред произнес:

— Говорите, отец.

Артур помотал головой, словно затравленный медведь. Он двигал ею по-медвежьи тяжко, но не отрывал глаз от пола.

— Говорите.

— Ланселот, — слышали все произносимые Королем слова, — тебе известно все, что было и есть между нами. Мой Стол разрушен, мои рыцари разделались или погибли. Я никогда не искал раздора с тобою, Ланс, как и ты со мной.

— Но неужели нельзя с этим покончить?

— Гавейн говорит... — слабо начал он.

— Гавейн!

— Правосудие...

Гавейн поднялся на ноги, рыжий, плотный, неистовый.

— Мой Король, мой господин и мой дядя. Согласен ли суд, чтобы я произнес приговор этому трусливому предателю?

Тишина стала полной.

— Знайте же все вы, что таково Королевское Слово. Королева возвратится к нему свободной, и ничто из того, в чем она была заподозрена доньне, никакой опасностью ей не грозит. Такова воля Папы. Но ты, сэр Ланселот, тебе надлежит не более чем в пятнадцать дней удалиться из этого королевства в изгнание, как ты есть явный изменник; и клянусь Богом, мы последуем за тобою по истечении этого срока, чтобы обрушить крепчайший из замков Франции на твои уши.

— Гавейн, — с мучительным трудом произнес Ланселот, — не преследуй меня. Я принимаю изгнание. Я стану жить в моих французских замках. Но не преследуй меня, Гавейн. Не заставляй войну длиться вечно.

— Оставь это тем, кто почище тебя. А замки твои принадлежат Королю.

— Если ты пойдешь на меня войною, Гавейн, не вызывай меня на бой и не позволяй Артуру выходить против меня. Я не могу сражаться с друзьями. Гавейн, ради Господа, не заставляй нас сражаться.

— Хватит твоих речей. Вручи Королю Королеву и поспеши вон от этого Двора.

С чем-то вроде завершающей скрупулезности Ланселот собирал воедино все свои душевные силы. Он перевел взгляд с Англии на своего мучителя. Медленно он поворотился к Королеве, так и не сказавшей ни слова. Он увидел ее, неповоротливую в дурацких одеждах с шутовской оливковой ветвью в руках. Он высоко поднял голову, сообщая их трагедии серьезность и благородство.

— Ну что же, госпожа моя, видно, нам должно расстаться.

Он взял ее за руку и повел к середине Залы, дорогою обращая ее в ту женщину, которую помнил всегда. Что-то в пожатии его руки, в походке, в полноте его голоса заставило ее вновь расцвести, обратившись в Розу Англии, — ибо в последний раз выступали они заодно. Она опять была высшей наградой тому, кто ее завоеует, — состояние, которое оба они призабыли. Величаво, как в танце, рыцарь-горгулья вывел ее на самую середину Залы. Здесь он установил ее, ослепительную, замковым камнем державы, и здесь простился с ней навсегда. В последний раз были вместе сэр Ланселот, Король Артур и Королева Гвиневера.

— Мой Король и старые друзья мои, одно слово, прежде чем я уйду. Приговор мой требует, чтобы я покинул наше содружество, коему



прослужил всю жизнь. Мне должно оставить страну, и война последует за мной по пятам. Стало быть, я в последний раз стою здесь перед вами заступником Королевы. Я стою здесь, чтобы сказать вам, госпожа моя и дама, перед всем этим двором, что если в будущем вам станет грозить какая-либо беда, то хотя бы один бедный рыцарь придет вам на помощь из Франции, — и пусть каждый помнит об этом.

Неторопливо он перецеловал ее пальцы, чопорно развернулся и в тишине зашагал к дверям длинной-длинной залы. Он шел навстречу своему будущему, и будущее смыкалось вокруг него.

В то время любому злодею, заручившемуся правом неприкосновенности, давалось пятнадцать дней, чтобы добраться до Дувра. Добираться же следовало предписанным для злодеев образом: «непрепоясанным, необутым, главы не покрывая, в одной рубахе, аки висельнику бысть надлежит». Идти полагалось серединой дороги, сжимая в руке маленький крест, символ неприкосновенности. Вероятно, по пятам за Ланселотом, таясь, следовал бы Гавейн или кто-то из его присных, в надежде, что он на миг выпустит из рук талисман. И все же, в рубахе ли, в кольчуге, он все равно остался бы их старым Командующим. Вот так он и шел бы — твердо, без спешки, глядя прямо перед собой. Когда он шагнул за порог, в облике его уже проступило долготерпение, потребное в дальней дороге. Люди, оставшиеся в Судебной Зале, покинутой старым воином, вдруг ощутили, безвкусицу своих ярких одежд, и многие с тайной боязнью скосили глаза на алую розгу.

Гвиневера сидела в Королевской опочивальне Замка Карлайль. Огромное ложе, застав, приспособили под диван, отчего оно приобрело вид столь опрятный и строгий, что на него боязно было присесть. В опочивальне имелись также — камин, снабженный всем необходимым для подогрева небольшого котла, высокое кресло и налож для чтения. Имелась здесь и книга, быть может, тот самый Галеот, о котором упоминает Данте. Стоила она не меньше, чем девяносто быков, но поскольку Гвиневера прочла ее уже семь раз, книга больше не возбуждала в ней интереса. Отсвет недавно выпавшего снега вливался в спальню снизу, — озаряя более потолок, нежели пол, и смещая привычные тени. Тени лежали синие и не там, где обычно. Высокородная леди коротала время за шитьем, чинно сидя в высоком кресле, пообок от книги, а на ступенях, ведущих к ложу сидела одна из ее камеристок и также вышивала.

Гвиневера клала стежок за стежком, и разум ее, как у всякой рукодельницы за работой, был наполовину пуст, — другая его половина неторопливо перебирала заботы, одолевавшие Гвиневеру. Ей не хотелось оставаться в Карлайле. Слишком близко к северу, — то есть к графству Мордред, — слишком далеко от хранительных удобств цивилизации. Она бы с удовольствием оказалась сейчас, ну, скажем, в Лондоне, может быть, даже в Тауэре. Куда приятнее было бы смотреть не на эти унылые снега, а на суматошное оживление столицы, видимое из окон Тауэра: на Лондонский мост, сплошь утыканный шаткими домами, которые то и дело кувыркались в реку. Она вспоминала этот мост, как существо, наделенное индивидуальностью, — со всеми его постройками, и с головами мятежников на пиках, и с тем местом, где сэръ Давид в полных доспехах сражался на поединке с лордом Уэллсом. Погреба домов располагались в опорах моста, а еще у моста имелась своя собственная часовня и башня для его обороны. То был совершенный в своем роде игрушечный город с хозяйками, выставляющими из окон головы, спускающими в реку бадьи на длинных веревках, плещущими туда же помои, развешивающими стирание белье, визгливо призывающими детей, когда наступает пора подтягивать кверху подъемную часть моста.

Да что говорить, и просто в самом Тауэре находиться сейчас было бы гораздо приятней. Здесь, в Карлайле, царил мертвенный покой. А там морозный ландшафт оживляло бы непрестанное мельтешение лондонцев

вокруг башни Завоевателя. Даже Артуров зверинец, который он ныне держал прямо в Тауэре, и тот вносил бы в жизнь приятное разнообразие своим шумом и запахами. Последним его прибавлением был взрослый слон, подаренный Королем Франции и специально зарисованный на предмет отображения в летописи неутомимым хроникером Матфеем Парижским.

Добравшись до слона, Гвиневера отложила шитье и принялась растирать пальцы. Пальцы онемели. И согревались они теперь не так быстро, как прежде.

— Вы выставили крошки для птиц, Агнес?

— Да, госпожа. Зарянка сегодня такая нахальная. Там один из дроздов разжадничался, так она ему целую песню пропела, и громкую!

— Бедняжки. Все-таки я надеюсь, что через несколько недель они уже все запоют.

— Кажется, так давно все нас покинули, — сказала Агнес. — И при дворе стало совсем как у птиц, все тихие и какие-то ожесточенные.

— Они вернуться, не сомневайся.

— Да, госпожа.

Королева снова взялась за иглу и задумчиво проколола ею ткань.

— Говорят, сэра Ланселот выказал большую отвагу.

— Сэр Ланселот всегда был отважным джентльменом, госпожа.

— В последнем письме сказано, что Гавейн бился с ним один на один. Должно быть, он чувствовал себя несчастным, сражаясь с Гавейном.

Агнес заговорила с горячностью:

— Нипочём я не пойму, как это Король смог пойти с этим сэром Гавейном против своего лучшего друга. Ведь всякий видит, что того просто гнев ослепил. Да потом еще разорять землю французскую, просто чтобы досадить сэру Ланселоту, и погубить столько народу, и повторять все эти гадости, которые говорят Хлыстуны. Если и дальше так пойдет, никому от этого не будет добра. Что прошло, то прошло, и почему они не могут с этим смириться, хотела бы я знать?

— Я думаю, Король отправился с сэром Гавейном, потому что он пытается соблюсти справедливость. Он считает, что Оркнейцы вправе требовать правосудия за смерть Гарета, — да я и сама так считаю. А кроме того, если Король не будет держаться сэра Гавейна, у него совсем никого не останется. Больше всего на свете он гордился Круглым Столом, а теперь Стол распался, и Король хочет сохранить от него хоть что-то.

— Не больно это удачный способ сохранить Стол, — сказала Агнес, — воевать с сэром Ланселотом.

— Закон на стороне сэра Гавейна. Так, во всяком случае, говорят. А Король в своем выборе все равно не свободен. Его же собственные подданные тянут Короля за собой, — те, кто хочет завоевать во Франции какие-нибудь владения и потом присвоить захваченное, и те, кому опротивел мир, который ему удавалось так долго поддерживать, и те, кто жаждет военной карьеры или хочет пролить побольше крови в отместку за убитых на Рыночной Площади. Тут и молодые рыцари из партии Мордредра, которым внушили, будто мой муж выжил на старости лет из ума, и родичи тех, кто пал на лестнице, и Оркнейский клан с древней враждой в душах. Война — как пожар, Агнес. Начало ей может положить один-единственный человек, но после она распространяется вширь, пока не охватит всех. И сказать, из-за чего она ведется, уже невозможно.

— Ах, госпожа, это все высокие материи, нам, бедным женщинам, их не понять. Но расскажите же, о чем еще говорится в письме?

Несколько времени Гвиневера просидела, глядя в письмо и не видя его, ибо мысли ее вращались вокруг затруднений мужа. Затем она медленно произнесла:

— Король любит Ланселота так сильно, что вынужден проявлять несправедливость к нему, — из опасения оказаться несправедливым к другим людям.

— Да, госпожа.

— А здесь, — сказала Королева, вдруг заметив письмо, которое держала в руке, — здесь говорится, как сэр Гавейн что ни день выезжал к замку и выкликал сэра Ланселота, называя его изменником и трусом. Рыцари же Ланселота гневались и выходили один за одним, но он сокрушил их всех и многих сильно покалечил. Он едва не убил Борса и Лионеля, пока наконец не пришлось сэру Ланселоту выйти к нему. Люди, засевшие в замке, настояли на этом. Он сказал сэру Гавейну, что тот принудил его биться, как зверя, загнанного в засаду.

— А сэр Гавейн что?

— А сэр Гавейн сказал: «Оставь твои пустые речи и выходи, и мы отведем душу.

— И они сразились?

— Да, они сразились в поединке перед воротами замка. Прочие все обещали не вмешиваться, и они начали биться в девять часов утра. Вы ведь знаете, насколько лучше сэр Гавейн сражается поутру. Потому они так рано и начали.

— Хорошо еще, что Господь наделил сэра Ланселота троекратной силой! Потому как я слышала разговоры, будто у Древнего Люда в жилах

примешана кровь эльфов, недаром ведь они рыжие, госпожа, и от этого ихний властитель до полудня владеет силой трех человек, потому что за него сражается солнце!

— Должно быть, это очень страшно, Агнес. Но сэр Ланселот слишком горд, чтобы не дать ему этого преимущества.

— Надеюсь, сэр Гавейн его не убил.

— Едва не убил. Но он прикрывался щитом и все время уклонялся и медлил, и отступал перед сэром Гавейном. Здесь сказано, что он получил много жестоких ударов, но сумел оборонить себя до полудня. А затем, конечно, мощь эльфов пропала, и он нанес Гавейну такой удар по голове, что тот рухнул и не сумел подняться.

— Увы, бедный сэр Гавейн!

— Да, он мог бы убить его прямо на месте.

— Но не убил.

— Нет. Он отступил и оперся на меч. Гавейн молил его о смерти. Он неистовствовал как никогда и взывал к Ланселоту: «Зачем ты отступаешь от меня? Вернись и убей меня насмерть! Я не сдамся тебе. Убей меня сразу, ибо если ты сохранишь мне жизнь, я только буду биться с тобою снова». Он плакал.

— Уж на сэра-то Ланселота можно положиться, — рассудительно сказала Агнес, — что он нипочем не станет разить поверженного рыцаря.

— Да, можно.

— Он всегда был достойным и добрым джентльменом, хоть красавцем его и не назовешь.

— Никто и ни в чем не мог его превзойти.

Они примолкли, смутившись охвативших их чувств, и снова взялись за шитье. Наконец Королева сказала:

— Свет меркнет, Агнес. Как вы думаете, не зажечь ли нам свечи?

— Конечно, госпожа. Я тоже подумала об этом. Она принялась разжигать от пламени камина свечи с тростниковыми фитилями, что-то ворча об отсталости и нищете северных варваров, у которых и свечей-то порядочных нет, а Гвиневера между тем еле слышно запела. То был дуэт, который она часто певала с Ланселотом, и, осознав это, она сразу умолкла.

— Ну вот, госпожа. А день-то, похоже, прибавился.

— Да, скоро снова весна.

Усевшись и возобновив при дымном свете шитье, Агнес вернулась к расспросам, — с того места, на котором они прервались.

— А что сказал про это Король?

— Король заплакал, увидев, как Ланселот пощадил Гавейна. Его

одолели воспоминания, и он так расстроился, что даже заболел.

— Это, наверное, то, что называют нервным срывом, госпожа?

— Да, Агнес. Король занемог от горя, а Гавейн лежал с сотрясением мозга, так что обоим было худо. Но рыцари по-прежнему держали осаду.

— Что ж, госпожа, не очень-то веселое письмо, верно?

— Да, не очень.

— Я, помню, тоже раз получила письмо, — ну, да что там, как говорят, чем хуже весть, тем скорее доходит.

— Все, что у нас теперь есть, — это письма. Двор опустел, мир раскололся, и никого, кроме Лорда-Протектора, при нас не осталось.

— Ах, уж этот мне сэра Мордред: вот сроду я таких терпеть не могла. Чего он добивается, разглагольствуя перед народом? Да еще и шляпу перед ним снимает, только людей смешит! И почему он не может одеться повеселее, слоняется тут весь в черном, будто он и не человек, а светопреставление Господне?

Это он, если позволите, от сэра Гавейна одежду-то перенял.

— Их форма задумана как траур по Гарету.

— Да никогда он к сэру Гарету добрых чувств не питал, этот-то. Не верю я, что он их вообще питал хоть к кому-нибудь.

— Он питал их к своей матери, Агнес.

— Ага, а ей в конце концов перерезали глотку за то, что она была не лучше, чем ей полагалось. Вся их шатия со странностями.

— Королева Моргауза, — задумчиво произнесла Гвиневера, — наверное, и впрямь была странной женщиной. Теперь, после назначения сэра Мордред Лордом-Протектором, все уже знают об этом, так что скрывать тут особенно нечего. Наверное, она была сильной женщиной, если смогла увлечь нашего Короля, когда у нее уже было четверо сыновей. Да что там, она и сэра Ламорака-то завлекла, уже будучи бабушкой. Должно быть, она имела страшную власть над своими сыновьями, если один из них испытывал к ней столь яростное чувство, что далее убил ее. А ведь ей было уже под семьдесят. Я думаю, она просто сожрала Мордред, Агнес, как паук.

— Одно время поговаривали насчет того, что все эти Корнуольские сестры — ведьмы. Оно, конечно, хуже всех из них была Моргана ле Фэй, но и эта Моргауза недалеко от нее ушла.

— От этого лишь проникаешься жалостью к Мордреду.

— Вы, госпожа моя, поберегите эту вашу жалость для себя, потому что от него вы жалости не дождетесь.

— С той поры, как страну оставили на его попечение, он всегда был

вежлив со мной.

— Ага, вежлив-то он был. От таких вот тихонь главный и вред.

Гвиневера, держа шитье поближе к свету, задумалась над ее словами. И спросила с некоторой тревогой:

— Ты ведь не думаешь, что сэра Мордред задумал что-то недоброе, Агнес, правда?

— Темный он человек.

— Но он же не станет делать зла после того, как Король доверил ему заботу о стране и о нас?

— Я этого вашего Короля, госпожа, если вы простите мне такие вольные речи, никак понять не могу. Сначала он отправляется воевать со своим лучшим другом, потому что ему сэра Гавейн так велел, а потом оставляет Лордом-Протектором самого своего злого врага. Почему он ведет себя так безрассудно?

— Мордред ни разу не нарушил законов.

— Это оттого, что он слишком хитер.

— Король говорил, что Мордреду предстоит стать наследником трона, а одновременно покинуть страну и Королю, и наследнику невозможно, поэтому он, естественно, должен был остаться наместником. Это лишь справедливо.

— Из этой вашей справедливости, госпожа, никогда еще ничего путного не выходило.

Они вновь взялись за шитье.

— Если уж правду сказать, — добавила Агнес, — так это Королю нужно было остаться, а Мордред пусть бы себе уехал.

— И я бы того хотела. Чуть позже она пояснила:

— Я думаю, Король захотел отправиться с сэром Гавейном, надеясь, что ему удастся их примирить.

Они все шили с тяжестью на сердце, и иглы, длинно поблескивая, гасли в темной ткани, словно падучие звезды.

— А вы боитесь сэра Мордред, Агнес?

— Да, госпожа, правда ваша, боюсь.

— И я тоже. Он в последнее время ходит так неслышно и... как-то странно смотрит на людей. И потом все эти его речи насчет гаэлов, саксов и евреев, и все эти крики, истерики. Я на той неделе слышала, как он засмеялся наедине с собой. Очень страшно.

— Он такой пронырливый. Может, он и сейчас нас слушает.

— Агнес!

Гвиневера, словно ударенная, уронила иглу.

— Ой, ну что вы, госпожа, не надо так расстраиваться, я просто пошутила.

Но Королева как замерла, так и не шелохнулась.

— Подойдите к двери. Я уверена, что вы правы.

— Ох, госпожа, я не могу.

— Немедленно откройте ее, Агнес.

— Госпожа, а вдруг он там стоит!

Ее тоже заразил страх. Хилых свечей явно не доставало. Он мог находиться и в самой опочивальне, где-нибудь в темном углу. Агнес вспорхнула, будто куропатка, заведшая над собой ястреба, и оправила юбку. Замок вдруг стал для обеих женщин слишком темным и безлюдным, слишком одиноким, слишком полным ночи и зимы.

— Если вы откроете ее, он уйдет.

— Но надо же дать ему время уйти.

Каждая старалась справиться со своим голосом, чувствуя, как темное крыло накрывает ее.

— Тогда встаньте поближе к двери и скажите что-нибудь громко, прежде чем ее отворить.

— А что мне сказать, госпожа?

— Скажите: «Не открыть ли мне дверь?». И тогда я скажу: «Да, по-моему, пора спать».

— По-моему, пора спать.

— Давайте же.

— Хорошо, госпожа. Начинать?

— Начинайте, да, только скорее.

— Я не знаю, как у меня получится.

— Ох, Агнес, пожалуйста, Поскорее!

— Ладно, госпожа. Надеюсь, получится.

И глядя на дверь так, словно та могла на нее наброситься, Агнес сообщила ей во весь голос:

— Я собираюсь открыть дверь!

— Спать пора! Ничего не случилось.

— Ну, открывайте, — сказала Королева. Агнес подняла щеколду и распахнула дверь, и Мордред улыбнулся им из дверного проема.

— Добрый вечер, Агнес.

— Ох, сэр!

Бедная женщина, затрепетав, присела в реверансе, прижимая руку к груди, и прыснула мимо него по лестнице. Он вежливо посторонился. После того, как Агнес исчезла, он вступил в опочивальню, великолепный в



своем черном облачении с единственным холодным бриллиантом, блеснувшим на алом значке в тусклом свете свечей. Любой, кто не видел его месяц или два, мгновенно понял бы, что Мордред лишился рассудка, — однако разум его распадался с такой постепенностью, что люди, жившие рядом, ничего не заметили. За ним вперевалку вошел черный мопсик, поводя яркими глазками и помахивая загнутым хвостом.

— Что-то наша Агнес нынче нервна, — сказал Мордред. — Добрый вечер, Гвиневера.

— Добрый вечер, Мордред.

— Развлекаетесь вышиванием? А я думал, вы станете вязать носки для солдат.

— Зачем вы пришли?

— Так, вечерний визит. Простите мне театральность моего появления.

— Вы всегда ожидаете за дверью, пока она отворится?

— Как-то же нужно в нее проникнуть, мадам. Это удобнее, чем входить в окно, — хотя мне приходилось слышать о людях, которым удавалось и это.

— Понятно. Присядете?

Мордред уселся, тщательный в каждом движении, мопс запрыгнул к нему на колени. Зрелище он являл, пожалуй, трагическое, ибо вся повадка его была повадкой матери. Он разыгрывал роль, утрачивая остатки реальности.

Сколько написано трагедий, в которых роковые блондинки доводят своих любовников до гибели, в которых Крессиды, Клеопатры, Далилы, а порой даже скверные дочери, вроде Джессики, причиняют страдания своим возлюбленным или родителям: и все же в основе настоящей трагедии лежат отнюдь не эти поступки. Эти — не более чем жалкая мишура, в которую рядится человеческая душа. Ну, пал Антоний на собственный меч — и что с того? Меч убил его — и только. Не вожделение любовника, но вожделение матери — вот что растлевает сердце и душу. Оно-то и обрекает трагического героя на смертный путь. В самой потаенной из комнат обитает Иокаста, не Джульетта. Гамлета толкает в объятия безумия не глупышка Офелия, но Гертруда. Сущность трагедии состоит не в отъятии и не в краже. Украсть сердце по силам любой вертихвостке. Сущность трагедии в том, чтобы давать, навязывать, добавлять, душить без всяких подушек. Дездемона, лишенная жизни или чести, ничто для Мордреда, лишенного собственной личности, Мордреда с душой украденной, втихомолку удушенной, иссохшей, между тем как жизнь его матери продолжалась по-прежнему — в торжестве, в изобилии, в

излиянии на Мордред любви, удушающей, пусть и без явственного злого намерения. Мордред был единственным из сынов Оркнея, кто так и не женился. Он был единственным, кто двадцать лет прожил наедине с матерью, когда его братья упорхнули в Англию, — он был ее живой кладовой. Теперь, когда она умерла, он обратился в ее могилу. Она продолжала существовать в нем, словно вампир. Когда он двигался, когда он сморкался — это были ее движения. Действуя, он становился таким же нереальным, какой была она, когда изображала девственницу перед единорогом. Он баловался той же жестокой магией. Он даже завел, подобно ей, комнатных собачонок, — хотя всегда ненавидел ее любимиц с той же жгучей мукой, с какой ненавидел ее любовников.

— Как-то нынче в воздухе холодком потянуло, нет?

— Февраль всегда холоден.

— Я понимаю нежные токи наших с вами личных отношений.

— Лорд-Протектор, назначенный моим мужем, по необходимости должен встречать у Королевы теплый прием.

— Но не мужнин ублюдок, а?

Она опустила иглу и взглянула ему прямо в лицо.

— Я не понимаю, зачем вы приходите ко мне с такими речами, и не могу догадаться, чего вы хотите.

Она не собиралась выказывать ему враждебность, но он сам вынуждал ее к этому. К тому же она никогда никого не боялась.

— Да вот, решил поболтать с вами о политической ситуации — просто поболтать, не более.

Она сознавала, что приближается некий кризис, и от этого сознания ее охватывала слабость. Она была уже слишком стара, чтобы тягаться с безумцем, да к тому же и подозрений касательно состояния его рассудка еще не имела. До этой поры лишь обременительная ироничность его тона вызывала у нее чувство собственной нереальности и делала ее неспособной к простому и естественному выбору слов. Но уступать ему она не желала.

— Я буду рада выслушать то, что вы хотите сказать.

— Вы чрезвычайно великодушны... Дженни.

Это было чудовищно. Он претворял ее в одну из своих фантазий и разговаривал с этой фантазией, а не с живым человеком.

Она сказала разгневанно:

— Не соблаговолите ли вы, обращаясь ко мне, использовать мой титул, Мордред?

— О да, разумеется. Я обязан извиниться, если я вторгся в охотничьи

угодья сэра Ланселота.

Издевка подействовала на нее, как тонизирующее средство, придав ей осанку царственной дамы, какой она и была, несгибаемой аристократки со сверкающими на ревматических пальцах перстнями, полвека успешно правившей миром.

— Я уверена, — сказала она наконец, — что попытайтесь вы сделать это, вас ожидали бы немалые затруднения.

— Однако! Впрочем, боюсь, я сам напросился на это. Вы всегда были несколько вспыльчивы... Королева Дженни.

— Сэр Мордред, если вы не будете вести себя, как подобает джентльмену, я лучше уйду.

— И куда же?

— Куда угодно: в любое место, где женщина, достаточно старая, чтобы годиться вам в матери, может чувствовать себя защищенной от подобных выходов.

— Вопрос только в том, — задумчиво заметил он, — где такое место находится? Если учесть, что все ушли во Францию, и что правителем королевства остался именно я, план ваш, кажется, утрачивает даже остатки основательности. Конечно, вы могли бы отправиться во Францию... да только доберетесь ли вы до нее?

Она поняла или начала понимать.

— Я что-то никак не вникну в смысл ваших слов.

— Ну что же, значит, вам нужно основательно поразмыслить над ними.

— С вашего позволения, — сказала она, вставая, — я позову мою камеристку.

— Отчего не позвать, позовите. Правда, мне придется ее отослать.

— Агнес будет делать то, что прикажу ей я.

— Сомневаюсь. Давайте попробуем.

— Мордред, не могли бы вы оставить меня?

— Нет, Дженни, — ответил он. — Мне хочется побыть с вами. Но если вы согласитесь посидеть минуту спокойно и выслушать меня, я обещаю вести себя как совершеннейший джентльмен, — а именно, как один из ваших *groux chevaliers*.

— Вы не оставляете мне выбора.

— Весьма незначительный.

— Чего же вы хотите? — спросила она и села, сложив на коленях руки. Жить среди опасностей ей было не внове.

— Ну вот еще, — сказал Мордред, совершенно безумный. Он

пребывал в отличном расположении духа, упоенно играя с ней, словно кошка с мышью. — К чему такая неприкрытая спешка? Нужно, чтобы отношения между нами стали непринужденными, прежде чем мы приступим к нашей беседе, иначе она покажется натянутой.

— Я слушаю.

— Нет-нет. Вы должны назвать меня «Морди» или еще как-нибудь ласково. Тогда и мое «Дженни» приобретет естественный вид. И мы с тем большим удовольствием станем продвигаться вперед.

Она не ответила.

— Гвиневера, вы хотя бы отчасти представляете себе свое положение?

— Мое положение — это положение Королевы Англии, так же, как ваше — ее Лорда-Протектора.

— Между тем как Артур и Ланселот дерутся друг с другом во Франции.

— Совершенно верно.

— А если предположить, — спросил он, поглаживая мопса, — что я пришел рассказать вам о полученном мною утром письме? Касательно смерти Артура и Ланселота?

— Я бы вам не поверила.

— Они убили друг друга в сражении.

— Это неправда, — тихо сказала она.

— Ну, в общем-то, нет. А как вы догадались?

— И если это неправда, говорить так — жестоко. Зачем вы это сказали?

— Очень многие поверили бы в это, Дженни. Я ожидаю, что очень многие и поверят.

— С чего бы? — спросила она, еще не успев понять, куда он клонит. И умолкла, затаив дыхание. В первый раз она ощутила страх: не за себя, за Артура.

— Не можете же вы...

— Ну, как не могу? Могу, — воскликнул он весело. — И даже сделаю. Что, по-вашему, произойдет, если мы объявим о смерти бедного Артура?

— Но, Мордред, вы не можете так поступить! Они же живы... Вы всем обязаны. Король назначил вас своим наместником... Ваша вассальная клятва... Это будет нечестно! Артур всегда проявлял по отношению к вам такую скрупулезную справедливость...

Он ответил, и глаза его были холодны:

— Разве я когда-нибудь просил у него справедливости? Справедливость — это то, что он преподносит людям, чтобы потешиться.

— Но ведь он ваш отец!

— Если на то пошло, я не просил, чтобы он меня породил. Полагаю, и это тоже он сделал потехи ради.

— Понятно.

Она сидела, скручивая пальцами шитье, стараясь думать спокойно.

— Почему вы так ненавидите моего мужа? — спросила она почти с изумлением.

— Я не ненавижу его. Я его презираю.

— Он же не знал, — тихо объяснила она, — когда все случилось, что ваша мать — сестра ему.

— И, как я полагаю, он не знал, что я ему сын, когда засунул меня в тот корабль?

— Ему едва исполнилось девятнадцать, Мордред. Его запугали пророчествами, и он сделал то, что его заставляли сделать.

— Моя мать, пока она не повстречала Короля Артура, оставалась порядочной женщиной. У нее и у Лота Оркнейского был счастливый дом, она родила ему четырех отважных сыновей. А что с ней случилось потом?

— Но она же была вдвое старше него! Как тут не подумать...

Он остановил ее, подняв руку.

— Вы говорите о моей матери.

— Простите, Мордред, но право...

— Я любил мою мать.

— Мордред...

— Король Артур вошел к женщине, хранившей верность своему мужу. А когда он оставил ее, она была уже распутницей. Она закончила свою жизнь голой, в постели с сэром Ламораком, убитая — и поделом — собственным сыном.

— Мордред, весь наш разговор не имеет смысла, если вы не можете понять, если вы не можете поверить, что Артур добр, что он раскаивается, что он сейчас в беде. Он любит вас. Он говорил об этом лишь за день-два до того, как начались эти несчастья...

— Пусть оставит эту любовь себе.

— Он был так честен с вами, — взмолилась она.

— Справедливый и благородный король! Да, легко быть честным, когда все уже позади. Есть чем утешиться! Справедливость! Ее он тоже может оставить себе.

Стараясь, чтобы не дрогнул голос, она произнесла:

— Если вы провозгласите себя королем, они вернутся из Франции, чтобы сражаться с вами. Тогда вместо одной войны у нас будет две, и

вторая — в Англии. Рыцарское содружество окажется перечеркнутым.

Он улыбнулся, испытывая живейшее наслаждение.

— Все это кажется невероятным, — сказала она, стискивая шитье.

Она сделала все, что могла. На миг у нее мелькнула мысль, что если она унижится перед ним, если преклонит перед ним свои старые, негнущиеся колени и станет молить его о милосердии, он, может быть, и смягчится. Но нет, совершенно ясно, что безнадежно и это. Он назначил себе определенный путь и катил по нему, будто шар по желобу. Даже все то, что он говорил, было, так сказать, текстом выбранной роли. И завершиться ей полагалось так, как записано в пьесе.

— Мордред, — беспомощно сказала она, — пожалейте хоть простолюдинов, если нет у вас жалости ни ко мне, ни к Артуру.

Он спихнул с колен мопса и встал, улыбнувшись ей с безумным удовлетворением. Глядя на нее сверху вниз, но вовсе не видя ее, он потянулся.

— Пусть не Артура, — произнес он, — но вас пожалеть я, безусловно, обязан.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я тут обдумывал некий узор, Дженни, незамысловатый такой узорчик.

Она вглядывалась в него, не говоря ни слова.

— Да. Мой отец совершил кровосмешение с моей матерью. Вам не кажется, Дженни, что если я — в ответ — сочетаюсь браком с женой отца, рисунок выйдет прелестный?

Тьма стояла в палатке Гавейна, лишь плоская жаровня, в которой тлел древесный уголь, подсвечивала ее снизу. В сравнении с роскошными шатрами английских рыцарей палатка его казалась жалкой и ветхой. Несколько клетчатых оркнейских пледов устлали жесткую кровать, а единственными украшениями были — снабженная надписью «Optimus egrogum, medicus fit Thomas bonorum»<sup>[8]</sup> свинцовая бутылка со святой водой, принимаемой им вместо лекарства, да привязанный к колу палатки пучок сухого вереска. То были его домашние боги.

Гавейн ничком лежал на пледах. Гавейн плакал, медленно и безнадежно, между тем как сидевший рядом Артур гладил его по руке. Эта рана лишила Гавейна сил, иначе бы он плакать не стал. Старый Король пытался его успокоить.

— Не стоит горевать об этом, Гавейн, — говорил он. — Вы сделали все, что могли.

— Второй раз он меня пощадил, второй раз за один-единственный месяц.

— Ланселот всегда был могуч. Его и годы не берут.

— Так почему же тогда он меня не убил? Я же молил его об этом. Я сказал ему, что если он оставит меня живым и меня залатают, я, как только поправлюсь, стану биться с ним снова.

— И Боже ты мой! — добавил он со слезами. — Как болит голова!

Артур со вздохом сказал:

— Все оттого, что вы получили оба удара по одному и тому же месту. Это злое везение.

— Мне стыдно, что я так болею.

— А вы не думайте об этом. Лежите спокойно, а то у вас снова начнется горячка и вы еще долго не сможете биться. И что тогда с нами станется? Без нашего Гавейна, ведущего армию в бой, мы совсем потеряемся.

— Пустой я человек, Артур, — сказал Гавейн. — Остервенелый буян и только, и убить его мне не по силам.

— Самые лучшие люди всегда говорят, что они никуда не годятся. Давайте переменим тему и поговорим о чем-нибудь приятном. Об Англии, например.

— Не видеть нам больше Англии, никогда.

— Глупости! Увидим, и прямо этой весной. А весна вот-вот наступит. Вон еще когда подснежники вылезли, а у Гвиневеры, я думаю, уже и крокусы того и гляди зацветут. Она замечательно управляет с садом.

— Гвиневера была добра со мной.

— Моя Гвен со всеми добра, — с гордостью произнес старик. — Знать бы, что она сейчас делает. Наверное, спать ложится. А может быть, засиделась допоздна, беседуя с вашим братом. Как подумаешь, что они, возможно, прямо в эту минуту говорят о нас, сердце согревается: быть может, они восхваляют доблести Гавейна, или Гвен говорит о том, как ей хочется, чтобы ее старик вернулся домой.

Гавейн беспокойно заерзал на ложе.

— И я уж подумывал, не вернуться ли нам домой, — пробормотал он. — Если Ланселот так ненавидит Оркнейский клан, как уверяет Мордред, чего же он тогда щадит его главу? Может быть, он все-таки по несчастной случайности убил Гарета.

— Я уверен, что по несчастной случайности. Если бы вы помогли нам остановить эту войну, мы бы с ней быстро покончили. Вы сами знаете, мы воюем сейчас, чтобы соблюсти справедливость по отношению к вам. В конечном счете, и я, и все остальные, кто желает сражаться, обязаны будут склониться перед вашим решением. Что до меня, то вы никого не найдете счастливее, если согласитесь прекратить войну.

— Да, но я поклялся биться с ним до смерти.

— Вы уже сделали две добрых попытки.

— И оба раза получил добрую взбучку, — горько сказал он. — Он уже два раза мог бы покончить с войной. Нет, если я сейчас примирюсь с ним, я буду выглядеть трусом.

— Самые отважные среди людей — это те, кто не боится выглядеть трусом. Вспомните, как Ланселот месяцами отсиживался в Веселой Страже, пока мы пели под стенами песенки.

— Я не могу забыть лицо нашего Гарета.

— Смерть его была горем для всех нас.

Гавейн пытался думать — то были тяжкие усилия, которые не могла для него облегчить и долгая практика. В этот темный вечер они казались тяжкими вдвойне из-за состояния, в котором пребывала его голова. Еще со времени поисков Грааля, когда Галахад нанес ему страшный удар по черепу, его стали мучить головные боли, а теперь Ланселот в двух поединках подряд сокрушал его и — по странному совпадению — ударами, наносимыми по тому же самому месту.

— Почему я должен отступить? — спросил Гавейн. — Потому лишь,



что он побил меня? Это будет похоже на бегство. Если бы мне удалось свалить его в третьей стычке, тогда да, тогда может быть. И пощадить... Тогда мы были бы квиты.

— Поля в Англии скоро покроются лютиками и ромашками, — задумчиво сказал Король. — Как было б славно добиться мира.

— Да, а какая по весне соколиная охота!

Воспоминания заставили лежащего на едва различимом ложе Гавейна повернуться, но боль, пронзившая череп, вынудила его замереть.

— Силы небесные, как дергает голову!

— Хотите, я приложу к ней влажную ткань, или, может быть, выпьете молока?

— Нет. Потерплю. Все равно не поможет.

— Бедный Гавейн. Надеюсь, он вам ничего не сломал.

— Он сломил мой дух. Давайте поговорим о другом. Король с сомнением произнес:

— Я и так слишком разговорился. Думаю, мне лучше уйти, а вы поспите.

— Ах нет, не уходите. Не оставляйте меня наедине с самим собой. Одиночество изнуряет меня.

— Но доктор сказал...

— К дьяволу доктора. Побудьте еще чуть-чуть. Подержите меня за руку. Расскажите об Англии.

— Завтра должна прийти почта, тогда мы сможем даже почитать об Англии. Получим самые свежие новости. Молодой Мордред пришлет письмо, и, может быть, Гвен мне тоже напишет.

— Почему-то в письмах Мордредра ничего, кроме холодных приветствий, нету.

Артур поспешил оправдать сына.

— Это только из-за того, что жизнь его не баловала. Но поверьте, сердце его воистину сгорает от любви. Гвен всегда говорила, что все тепло своей души он отдал матери.

— Он был привязан к нашей матери.

— Может быть, даже влюблен в нее.

— Вот причина, почему он так завидует вам. Эта мысль, впервые пришедшая Гавейну в голову, поразила его, будто открытие.

— Возможно, по этой же причине он и позволил сэру Агравейну убить ее, когда она вступила в любовную связь с сэром Ламораком... Бедный мальчик, жизнь обошлась с ним круто.

— Он единственный брат, какой у меня остался.

— Я знаю. Эта несчастная оплошность Ланселота — истинная трагедия.

Властитель Лоутеана лихорадочно схватился за свою головную повязку.

— Какая уж там оплошность. Я еще мог бы в нее поверить, кабы на них были шлемы, но они стояли с непокрытыми головами. Он должен был их узнать.

— Мы уже столько раз говорили об этом.

— Да. И все впустую.

С трагической робостью старик спросил:

— Не кажется ли вам возможным, Гавейн, пересилить себя и простить Ланселота, что бы там ни произошло? Я не пытаюсь заставить вас забыть о вашем долге, но если не умерять правосудия милосердием...

— Я умерю его, когда жизнь Ланселота будет зависеть только от моего милосердия, не раньше.

— Ну что же, вам решать. А вот и доктор идет, сейчас скажет мне, что я слишком у вас засиделся. Входите, доктор, входите.

Но вместо доктора в палатку шумно вступил епископ Рочестерский с пакетами и железным светильником в руках.

— Это вы, Рочестер. А мы думали — доктор.

— Добрый вечер, сэр. И доброго вечера вам, сэр Гавейн.

— Добрый вечер.

— Как голова нынче?

— Спасибо, господин мой, понемногу проходит.

— Ну, это прекрасная новость.

— А я, — лукаво прибавил он, — тоже принес неплохие новости.

Почта пришла раньше ожидаемого!

— Письма!

— Одно вам, — и он вручил его Королю. — Длинное.

— А для меня что-нибудь есть? — спросил Гавейн.

— На этой неделе, увы, ничего. В следующий раз повезет.

Артур пододвинулся с письмом поближе к светильнику и взломал печать.

— Вы извините меня, я почитаю.

— Конечно. Какие могут быть церемонии, когда приходят вести из Англии. Боже ты мой, сэр Гавейн, вот уж не думал, что на старости лет подамся в паломники и стану слоняться по иным.

Трескотня епископа вдруг замерла. Артур не сделал ни единого жеста. Он не покраснел и не побледнел, не уронил письма, не уставился перед

собой неподвижным взором. Он тихо читал письмо. Но Рочестер замолк, а Гавейн приподнялся, опираясь на локоть. Приоткрыв рты, они смотрели, как он читает.

— Сэр...

— Ничего, — сказал он, отмахиваясь. — Простите меня. Новости.

— Я надеюсь...

— Прошу вас, позвольте мне дочитать. Поговорите с сэром Гавейном.

Гавейн спросил:

— Дурные вести? Могу я взглянуть?

— Нет, прошу вас, подождите минуту.

— Мордред?

— Нет. Пустяки. Доктор просил... Господин мой, мне нужно переговорить с вами снаружи.

Гавейн с трудом попытался сесть.

— Вы должны мне сказать.

— Вам не о чем тревожиться. Ложитесь. Мы сейчас вернемся.

— Если вы уйдете, ничего не сказав, я последую за вами.

— Здесь ничего важного. Вы потревожите рану.

— Что случилось?

— Ничего. Просто...

— Ну?

— Ладно, Гавейн, — сказал он, внезапно сдаваясь, — похоже, Мордред провозгласил себя Королем Англии и установил этот его Новый Порядок.

— Мордред!

— Понимаете, он объявил своим Хлыстунам, что мы мертвы, — объяснил Артур, словно излагал условия задачи, — и...

— Мордред сказал, что мы мертвы?

— Он сказал, что мы мертвы, и...

Ему никак не удавалось выразить это словами.

— И что?

— Он вознамерился жениться на Гвен.

Наступило мертвое молчание, рука епископа неуверенно повлеклась к нагрудному кресту, а Гавейнова смяла ткань, покрывавшую ложе. Затем оба заговорили одновременно.

— Лорд-Протектор...

— Не может этого быть. Это шутка. Мой брат не сделал бы такого.

— К несчастью, это правда, — терпеливо промолвил Король. — Письмо от Гвиневеры, Бог весть как она управилась переслать его нам.

— Но возраст Королевы...

— Провозгласив себя Королем, он предложил ей свою руку. Помочь ей было некому. Королева приняла его предложение.

— Приняла предложение Мордред!

Гавейн ухитрился перекинуть ноги через край ложа.

— Дядя, дайте мне письмо.

Он принял письмо из машинально расставшейся с ним нетвердой руки Короля и стал читать, наклонив лист к свету.

Артур продолжал объяснения:

— Королева приняла предложение Мордред и попросила его разрешения отправиться в Лондон за приданым. Оказавшись в Лондоне, она с немногими, кто остался ей верен, неожиданно бросилась в Тауэр и затворилась там. Слава Богу, это крепкий форт. Сейчас они осаждают ее в Лондонском Тауэре, и Мордред использует пушки.

Рочестер ошеломленно переспросил:

— Пушки?

— Он использует пушки.

С этим разум старого священника справиться просто не смог.

— Это невероятно! — сказал он. — Объявить о нашей смерти и жениться на Королеве! А потом еще использовать пушки...

— Теперь, когда дело дошло до пушек, — сказал Артур, — Столу конец. Мы должны поспешить домой.

— Стрелять из пушек по людям!

— Мы обязаны немедленно отправиться к ней на помощь, господин мой. Гавейн может остаться здесь...

Но Властитель Оркнея уже выбирался из постели.

— Гавейн, что вы делаете? Лягте немедленно.

— Я отправляюсь с вами.

— Гавейн, ложитесь. Рочестер, помогите мне справиться с ним.

— Последний из моих братьев нарушил вассальную клятву.

— Гавейн...

— А Ланселота... О Господи, моя голова!

Он стоял в тусклом свете, покачиваясь, обеими руками держась за повязку, и тень его шутовски металась вокруг палаточного кола.

Ангвису Ирландскому приснился однажды ветер, сдувший все его замки и города: нынешний ветер, похоже, пытался проделать то же самое. Ветер задувал вокруг Замка Бенвик на всех органных регистрах. Шум от него стоял такой, словно между древесных стволов продирало бесчисленные нити сырого шелка, как мы продираем расческой волосы, словно груды гравия сыпались из ковша землечерпалки на прибрежный песок, словно рвались колоссальные простыни, словно били барабаны далекой битвы, словно бесконечный змей неся по миру через прорость домов и деревьев, словно тяжело вздыхали старцы, и выли женщины, и мчались куда-то стаи волков. Ветер свистел, гудел, ухал и бухал в каминных трубах. Над трубами же он завывал, как живая тварь: некое примитивное чудовище, оплакивающее свое окаянство. То был дантовский ветер, сметающий журавлей и погибших любовников: не знающий отдыха Сатана, в его тяжких и гремучих трудах.

К западу от замка он терзал и утюжил море, отрывая от него целые груды воды и унося ее пеной. На суше он гнул перед собою деревья. Узловатые деревья боярышника стонали и горестно вскрикивали, их сдвоенные стволы терлись друг о друга. Птицы, оседлав с треском хлещущие воздух ветви деревьев, приникали к ним, вытянув головы к ветру и обратив свои изящные коготки в якоря. На утесах стоически восседали сапсаны, бакенбарды их, свалаявшиеся от дождя, торчали сосульками в стороны, мокрые перья топорщились на головах. Дикие гуси, пробиваясь в сумерках к своим ночным становищам, с трудом отвоевывали у воздушных струй по ярду в минуту, их нестройные клики срывало и относило назад, так что они достигали ушей, когда гуси, пролетевшие всего в нескольких футах над вами, уже скрывались из виду. Кряквы и свиязи, высоко занесенные ураганом, исчезали, еще не успев появиться.

Проникая под двери замковых покоев, порывы ветра терзали плещущее пламя расставленных по полу тростниковых свечей. Они, будто в трубах, гудели в круглых пролетах винтовых лестниц, грохали деревянными ставнями, визгливо скулили в окошках бойниц, тормозили безучастные гобелены, проходя по ним жесткими волнами, пронизывали замок насквозь. Каменные башни трепетали под ветром, содрогаясь целиком, словно басовые струны музыкального инструмента. Черепицы летели с кровель и с отрывистым треском разбивались в куски.

Боре с Блеоберисом, съежась, сидели у яркого пламени, похоже, наученного злым ветром отбрасывать свет, не давая тепла. Даже огонь казался замерзшим, словно бы нарисованным. Мучительный ветер путал их мысли.

— Но почему же они ушли так поспешно? — жалобно спрашивал Боре. — Где это видано, чтобы так вот взять да и снять осаду? Всего за одну ночь. Исчезли, будто их сдуло.

— Должно быть, дурные вести пришли. Не иначе, как в Англии что-то неладно.

— Может быть.

— Если бы они надумали простить Ланселота, они бы ему сообщили об этом.

— Все-таки странно — хватъ, и уплыли, ничего не сказав.

— Как ты думаешь, может быть, Корнуолл восстал — или Уэльс, или Ирландия?

— От Древнего Люда только того и жди, — согласился закоченевший Блеоберис.

— Хотя навряд ли это мятеж. Я полагаю, Король занемог, вот и пришлось его спешно отправить домой. Или на Гавейна напала хворь. Может, у него от второго удара Ланселота ум за разум зашел?

— Может быть.

Боре пнул пламя ногой.

— Исчезнуть таким манером, без единого слова!

— А почему Ланселот ничего не предпримет?

— Да что же он может сделать?

— Не знаю.

— Король-то его изгнал.

— Да.

— Ну, и ничего тут не поделаешь.

— И все-таки, — сказал Блеоберис, — я бы хотел, чтобы он что-нибудь сделал.

В подножии башенной лестницы с треском открылась дверь. Гобелены скрутило винтом, пламя свечей взметнулось кверху, очаг выдохнул клуб дыма, и голос Ланселота, несомый ветром, позвал: «Боре! Блеоберис! Эктор!»

— Здесь.

— Где?

— Здесь, наверху.

Далекая дверь захлопнулась, и тишина воротилась в комнату. Пламя

свечей снова легло, и там, где только что с трудом различался крик Ланселота, отчетливо зазвучали его шаги по каменным ступеням. Он поспешно вошел, с письмом в руке.

— Боре. Блеоберис. Я вас искал. Они встали.

— Письмо из Англии. Гонцов выбросило на берег в пяти милях отсюда. Мы должны немедленно отправляться туда.

— В Англию?

— Да, да. Конечно, в Англию. Я приказал Лионелю взять на себя транспорт, а ты, Боре, позаботься о фураже. Мы не можем ждать, пока кончится буря.

— Но зачем мы туда поплывем? — спросил Боре.

— Что за известия, объясни?

— Известия? — неопределенно сказал Ланселот. — На это нет времени. На корабле расскажу. Вот, прочитайте письмо.

Он вручил его Борсу и вышел, прежде чем они успели ответить.

— Однако!

— Прочитай, что там?

— Я даже не знаю, от кого оно.

— Может, в письме сказано.

Они еще не справились с датой, как снова вошел Ланселот.

— Блеоберис, — сказал он. — Совсем забыл. Займись лошадьми. Ну-ка, давайте сюда письмо. Если вы двое начнете его читать, вам и за ночь не управиться.

— О чем оно?

— Большую часть новостей сообщил мне гонец. Похоже, Мордред восстал против Артура, провозгласил себя Вождем Англичан, и предложил Гвиневере руку.

— Так ведь она уже замужем, — запротестовал Блеоберис.

— Потому-то они и сняли осаду. Затем Мордред, судя по всему, собрал в Кенте армию, чтобы не дать Королю высадиться. Он объявил, что Артур погиб, осадил Гвиневеру в Лондонском Тауэре и обстреливает его из пушек.

— Из пушек!

— Он встретил Артура в Дувре и дал сражение, чтобы воспрепятствовать высадке. Бой был тяжелый, наполовину на суше, наполовину на море, но Король его выиграл. Он пробился на сушу.

— А кто написал письмо? Ланселот неожиданно сел.

— Письмо от Гавейна, от несчастного Гавейна. Он мертв.

— Мертв!

— Как же он тогда писал... — начал Блеоберис.

— Ужасное письмо. Гавейн был достойным человеком. Вы все заставляли меня сражаться с ним, не понимая, какое сердце билось у него в груди.

— Да прочти же письмо-то, — нетерпеливо сказал Боре.

— Видимо, последний удар по голове, который он от меня получил, оказался опасен. Ему вообще не следовало трогаться с места. Но он томился одиночеством, отчаянием и чувствовал себя преданным. Последний из его братьев обернулся изменником. Он настоял на том, чтобы возвратиться в Англию и помочь Королю, — и во время высадки ринулся в бой. К несчастью, он вновь получил удар по старой ране и через несколько часов умер.

— Я не понимаю, почему тебя-то это расстраивает.

— Послушайте, что здесь написано.

Ланселот поднес письмо к окну и молча просмотрел его еще раз. Было в письме что-то трогательное — почерк Гавейна так не походил на него самого. В таком человеке, каков был Гавейн, вряд ли кто-нибудь мог заподозрить литературный талант. На самом деле, более натуральным казалось, что и он, подобно большинству остальных, неграмотен. И однако же исписанный лист заполняли не заостренные буквы готики, бывшей в то время в ходу, но прелестные старогаэльские минускулы, оставшиеся такими же опрятными, округлыми и мелкими, какими были они, когда престарелый святой обучал им Гавейна в сумрачном Дунлоутеане. С той поры он писал так нечасто, что искусство, обретенное им, сохранилось во всей его красоте. То был почерк старой девы или мальчика давних времен, пишущего со тщанием, высунув язык и зацепившись ступнями за ножки стула. Несмотря на все беды и мучения старости, почерк сохранил и присущую ему целомудренную опрятность, и изящество давно уж не модных завитков. Казалось, что из черных доспехов выступил вдруг смысленый мальчишка: совсем еще маленький, с капелькой на кончике носа, с посинелыми босыми ступнями, с корешком ламинарии в крохотном пучке моркови, на который походила его ладошка.

*«Тебе, сэра Ланселот, цвет благородного рыцарства, лучший из всех, кого только видел я и о ком слышал за всю мою жизнь, я, сэра Гавейн, сын Короля Лота Оркнейского и сын сестры благородного Короля Артура, шлю приветствие.*

*И я хочу, чтобы весь мир узнал, что я, сэра Гавейн, рыцарь Круглого Стола, искал смерти от твоей руки, — и умираю не по твоей вине, но по моей. И потому я заклинаю тебя, сэра Ланселот, возвратиться в это*



королевство и посетить мою могилу и прочитать молитву-другую за упокой моей души.

*И в этот самый день, когда я пишу тебе это послание, я был смертельно ранен, но рану эту еще прежде нанес мне ты, сэра Ланселот, и я не мог бы принять смерть от руки, благороднее той, что убила меня.*

*Ты же, сэра Ланселот, ради всей прежней любви, что была некогда между нами...»*

Ланселот прервал чтение и бросил письмо на стол.

— Нет, — сказал он, — я не могу продолжать. Он просит меня прибыть со всей поспешностью и помочь Королю в борьбе против его брата: последнего его родича. Гавейн любил свою семью, Боре, но под конец у него никакой семьи не осталось. И все же он прислал мне свое прощение. Он заявил даже, что во всем виноват он сам. Бог свидетель, он воистину был добрым братом.

— Что же нам делать, чтобы помочь Королю?

— Мы должны добраться до Англии так скоро, как только сможем. Мордред отступил к Кентербери и готовится к новой битве. Возможно, все уже кончено. И эти-то вести были задержаны штормом. Теперь все зависит от нашей быстроты.

Блеоберис сказал:

— Пойду, займусь лошадьми. Когда отплываем?

— Завтра. Сегодня. Сейчас. Едва лишь затихнет ветер. Не копайся там.

— Хорошо.

— А за тобой, Боре, фураж. — Да.

Ланселот вышел с Блеоберисом на лестницу, но в дверях обернулся.

— Королева в осаде, — сказал он. — Мы должны ее выручить.

— Да.

Оставшийся наедине с ветром Боре с любопытством поднял письмо. Он наклонил его к гаснущему свету, любуясь z-образными *g*, кудрявыми *b*, искривленными подобно лезвиям плуга *t*. Каждая крохотная строка была словно борозда с вывернутым пластом земли, от нее веяло свежестью, как от распаханной нови. Но на краю листа борозда обрывалась. Боре перевернул лист, рассмотрел бурую подпись и по складам прочитал заключение, шевеля губами, пока трепетали свечи, клубился дым и выл ветер

*«А время написания этого письма — всего лишь за два с половиной часа до моей смерти, и писано оно моею собственной рукой и подписано кровью моего сердца.*

*Гавейн Оркнейский»*

Боре дважды выговорил это имя и стиснул зубы. Гавейн.

— Небось, — с сомнением произнес он, — они там, на Севере, произносят его имя как-нибудь вроде Кухулина. Ничего в этих древних языках не поймешь.

Он положил письмо, отошел к мрачному окну и принялся напевать песенку, называвшуюся «Дым, дым на холме», слова которой унесло от нас волнами времени. Быть может, они походили на нынешние, на те, что гласят:

И все еще Шотландия в сердцах, Кровь горяча, и снятся нам Гебриды.

[9]

Тот же заунывный ветер дул и в Солсбери, над шатром Короля. В шатре стояла покойная тишь — сравнительно с буйством снаружи. Его отличала роскошь убранства, создаваемая царственными гобеленами (Короля сопровождал Урия, по-прежнему рассеченный надвое), покрытым пышными мехами ложем, ярким блеском свечей. Шатер был просторный. В глубине его тускло поблескивала на вешалке королевская кольчуга. Дурно воспитанный сокол, имевший порочное обыкновение время от времени пронзительно вскрикивать, неподвижно стоял, вцепившись, как попугай, в жердочку, накрытый клобучком и погруженный в какие-то унаследованные от предков кошмары. Гончая, белая, словно слоновая кость, настороженно лежала, опираясь на все четыре лапы и с жалостью глядя на Короля ласковыми глазами оленихи. У постели виднелась чудесная эмалевая шахматная доска с фигурами из яшмы и хрусталя, стоявшими в матовой позиции. Всюду лежали бумаги. Они покрывали стол секретаря, налой для чтения, стулья, — скучные правительственные документы, которыми он, несмотря ни на что, продолжал заниматься, документы, касавшиеся так и не сведенных в единый кодекс законов, интендантства, вооружения и распорядка дня. Огромная учетная книга лежала раскрытой на справке, посвященной бедняге по имени Вильям-с-Лужайки, не явившемуся в суд и приговоренному к повешению (*suspendatur*) за грабеж. На полях опрятным почерком секретаря была проставлена краткая эпитафия: «*susp.*», вполне отвечавшая общему трагическому настроению. Налой покрывали бесчисленные стопы прошений и выписок с уже обозначенными на них решениями и подписью Короля. На тех, с которыми Король был согласен, он старательно надписывал «*Le roy le veult*»<sup>[10]</sup>. Отвергнутые прошения помечались уклончиво-вежливой формулой, к которой всегда прибегают царствующие особы: «*Le roy s'avisera*»<sup>[11]</sup>. Читальный налой вместе с креслом был вырезан из одного куска дерева, в этом-то кресле, понурясь, и сидел Король. Голова его лежала среди документов, приведенных ею в беспорядок. Казалось, Король уже умер, — да он и близок был к этому.

Артур устал. Две выигранных им битвы — одна под Дувром, другая в Бархемдаун, — надломили его. Жена его лишилась свободы. Самый старый из друзей находился в изгнании. Собственный сын пытался его убить. Гавейна похоронили. Круглый Стол распался. В стране шла война. И все же он смог бы выстоять так или этак, если бы не было уничтожено главное, во

что он верил всем сердцем. Давным-давно, когда разум его еще принадлежал шустрому мальчишке по имени Варт, он попал в обучение к доброму и благожелательному старику с развевающейся белой бородой. Мерлин научил его верить, что человек способен к совершенствованию, что в целом ему свойственна скорее порядочность, чем скотство, что добро стоит усилий, что никакого первородного греха не существует. И из мальчика выковали оружие, способное помочь человеку, — в предположении, что человек добр. Его заблуждавшийся старый наставник создал из него некое подобие Пастера или Кюри, или терпеливого открывателя инсулина. Служение, для которого он был предназначен, состояло в противлении Силе, умственному расстройству человечества. Его Круглый Стол, его идея Рыцарства, его Святой Грааль, его приверженность Правосудию — все они были последовательными шагами в борьбе, для которой он был сформирован. Он походил на ученого, всю свою жизнь отыскивающего возбудителя рака. Покончить с Силой, сделать человека счастливее. Но в основе всей постройки лежала исходная предпосылка: человеку присуща порядочность.

Когда он оглядывался на свою жизнь, ему начинало казаться, что все это время он пытался преградить путь половодью, а оно, едва обузданное, прорывалось в новом месте, заставляя его снова браться за работу. То был разлив неодолимой Силы. В начальные дни, еще до женитьбы, он норовил — в битвах с Гаэльской конфедерацией — сломить силу силой и обнаружил лишь, что злом зла не поправишь. Однако ему удалось сокрушить романтические феодальные представления о том, что такое война. Затем, с помощью Круглого Стола, он попытался обуздать жестокость в ее сравнительно слабых проявлениях, чтобы можно было использовать силу для достижения полезных целей. Он отправлял могучих мужей спасать угнетенных, исправлять содеянное зло, — смирять индивидуальную мощь баронов, как сам он смирил мощь королей. И они занимались этим, пока по прошествии времени цель не оказалась достигнутой, — но сила так и осталась у него на руках не усмирённой. Ему пришлось отыскивать новый канал, и он поставил своих бойцов на службу Богу, отправив их на поиски Святого Грааля. Но и это кончилось поражением, поскольку преуспевшие в Поиске достигли совершенства и оказались для мира утраченными, а потерпевшие неудачу, как вскоре выяснилось, лучше не стали. В конце концов он счел необходимым начертать как бы карту силы, опутав последнюю сетью законов. Он попытался систематизировать злонамеренное применение силы отдельными личностями, чтобы можно было поставить ему пределы в

безличностном государственном правосудии. Он готов был принести в жертву этому правосудию жену и лучшего друга. И когда сила отдельных людей, казалось, была обуздана, Принцип Силы снова замаячил у него за спиной, обернувшись коллективным насилием, взаимосвязью жестокости, многолюдными армиями, неподвластными установленным для отдельных людей законам. Он стеснил единичную силу, но для того лишь, чтобы оказаться лицом к лицу со множественной. Победив убийство, он столкнулся с войной. А на нее законы не распространялись.

Войны его ранней поры, те, что он вел против Лота или Диктатора Рима, имели целью подорвать феодальные представления о войне, как о лисьей охоте или спортивных играх с выкупом в виде приза победителю. С этой целью он ввел в обращение идею тотальной войны. И вот, когда он достиг старости, эта же самая тотальная война воротилась к тому, кто ее породил, в облике тотальной ненависти, столь похожей на современные виды вражды.

И сейчас, упокоив чело на бумагах и сомкнув веки, Король изо всех сил старался не думать. Ибо если первородный грех все-таки существует, если человек по природе своей — злодей, если Библия права, утверждая, что человек прежде всего лжив и безнадежно порочен, тогда целью всей его жизни была тщета. Рыцарство и правосудие оборачиваются детскими мечтаниями, если главный ствол, к которому он пытался привить их, — это Хлыстун, и никто иной, *Nomo feox* <sup>[12]</sup> вместо *Nomo sapiens* <sup>[13]</sup>.

Однако за этой мыслью стояла другая, еще худшая, на которую он не осмеливался и замахнуться. Возможно, человек не добр и не дурен, возможно, он просто машина, работающая в неодушевленной вселенной, и доблесть его есть не более, чем рефлекторный отклик на опасность, — сродни машинальному подскоку при булавочном уколе. Возможно, и не существует никаких добродетелей, если только не считать добродетелью этот самый подскок, и человечество — это всего лишь механический ослик, вовлеченный железной морковкой, которую именуют любовью, в бессмысленно однообразный труд воспроизведения рода. Возможно, Сила — это просто закон Природы, потребный для поддержания в нужной форме тех, кто выживает после столкновения с ней. Возможно, и сам он...

Но он не решался глубже вникать в эту мысль. Он чувствовал себя так, словно что-то отмерло у него между глаз, там, где нос соединяется с черепом. Он не мог спать. Ему снились дурные сны. Завтра решающая битва. А ему еще нужно прочитать и подписать все эти бумаги. Но и читать или подписывать их он тоже не мог. Не мог оторвать голову от стола.

Почему сражаются люди?

Старик всегда старался оставаться честным в своих размышлениях, не испытывая, впрочем, особенных озарений. Ныне его утомленный мозг то и дело норовил соскользнуть на ставшие уже привычными круги: проторенные пути, вроде того, по которому кружит мельничный ослик. Артур уже тысячи раз проходил ими и никуда не пришел.

Виной ли тому безнравственные вожди, влекущие невинные народы к уничтожению, или безнравственны сами народы, выбирающие себе вождей по душе? Казалось бы, маловероятно, что один-единственный Вождь способен принудить к чему-то целый миллион англичан. Если бы, к примеру, Мордреду приспичило заставить всех англичан до единого носить детские юбочки или стоять на головах, — вряд ли они устремились бы в его партию, сколь бы умны, убедительны, соблазнительны или даже угрожающи ни были доводы, коими он их стал бы приманивать. Уж наверное, вождь вынужден предлагать тем, кого он ведет, нечто для них привлекательное? Он может, конечно, подтолкнуть рушащееся здание, но и само здание, видимо, должно зашататься, прежде чем рухнуть? А если так, то значит и войны вовсе не являются бедствиями, в которые злые люди вовлекают добреньких простаков. Они представляют собой национальные движения, по происхождению своему куда более загадочные и глубокие. Да, собственно, и не было у него ощущения, будто это он или Мордред довели страну до нынешнего несчастного состояния. Если бы водить страну туда-сюда было так же легко, как свинью на веревке, почему же тогда он не смог привести ее к рыцарству, правосудию и миру? А ведь он старался.

Но тогда, — он пошел по второму кругу, все это сильно смахивало на дантовский Ад, — если на самом деле не он и не Мордред вызвали нынешние несчастья, кто же был их причиной? Как вообще начинаются войны? Ибо любая новая война, похоже, является следствием предыдущих. Мордред ведет к Моргаузе, Моргауза к Утеру Пендрагону, Утер к собственным предкам. Как если бы Каин убил Авеля и захватил его земли, и с тех пор род Авеля все старается отвоевать свои наследственные владения. Безумие длится за веком век, отвечая злом на зло и резней на резню. Никто от этого не выигрывает, поскольку потери всегда несут обе стороны, но и выпутаться из этого никому не по силам. В нынешней войне можно винить его или Мордред, но в ней повинны и миллион Хлыстунов, и Ланселот, и Гвиневера, и Гавейн — все и каждый. Тем, кто живет мечом, суждено от меча и погибнуть. И видимо, все пути будут вести к беде до той поры, пока человек не желает забыть о прошлом. Зло, сотворенное Утером, и зло, сотворенное Каином, можно исправить, но только если,

благословясь, забыть и то, и другое.

Сестры, матери, бабушки: все коренится в прошлом! Любые деяния, совершенные при жизни одного поколения, могут привести к непредсказуемым последствиям при жизни другого, так что даже чихая, мы кидаем в пруд камушек, круги от которого способны достичь и самого дальнего берега. И видимо, единственная надежда состоит в том, чтобы вообще ничего не делать, пребывать в покое, подобно камушку, которого никто никуда не бросал. Однако ведь и это противно.

Что справедливо, что несправедливо? Чем отличается деяние от недеяния? Если бы мне пришлось начинать сначала, думал старый Король, я бы укрылся в монастыре, страхась Деяния, способного накликать беду.

Благословенное забвение — вот что существеннее всего. Если всему, что содеяно тем или иным человеком или пращурами его, суждено в дальнейшем породить кровопролитие, следовательно, нужно стереть прошлое и все начать заново. Человек обязан быть готов к тому, чтобы сказать: да, несправедливость существовала со времен Каина, но если мы примем status quo, мы лишь продлим наши бедствия. Земли наши будут разграблены, люди убиты, народы унижены. Чем жить, глядя и вперед, и назад, давайте-ка лучше начнем все сначала. Мстя за прошлое, мы будущего не построим. Присядем рядом, как братья, и примем Божий мир.

Увы, в каждой новой войне именно это и говорилось. Люди вечно твердили, что уж эта-то война, точно, последняя, а после нее настанет райская жизнь. Они всегда норовили выстроить новый мир — такой, какого никто еще не видел. Однако когда приходило время строительства, оказывалось, что они для него слишком глупы. Будто дети, с криком требующие, чтобы им разрешили построить дом, — однако стоит им приступить к строительству, сказывается отсутствие практических навыков. Никак им не удается правильно выбрать строительные материалы.

Мысли старика прилежно подвигались вперед. Они никуда его не вели: они возвращались на собственные пути и проходили их дважды, но он свыкся с ними и остановиться не мог. Он вступил на следующий круг.

Возможно, главная причина войны это обладание собственностью, как и уверял этот коммунист, Джон Болл. «Дела английские идут худо, — заявил он, — и идти им так до поры, пока всякая вещь не станет общей и не будет уже ни виллана, ни господина.» Возможно, войны разражаются из-за того, что люди вечно твердят: *мое* королевство, *моя* жена, *мой* любовник, *мои* владения. И он, и Ланселот, и все остальные всегда втайне сознавали это. Возможно, до тех пор, пока люди пытаются владеть хоть чем-то по отдельности друг от друга, пусть даже душой и честью, им так и предстоит

воевать. Голодный волк будет вечно нападать на нагулявшего жирок оленя, бедняк — грабить банкира, серв — восставать против высших классов, а нищие народы — биться с богатыми. Возможно, войны только и ведутся между имущими и неимущими. Тут, правда, есть одно возражение: никому еще не удавалось определить, что такое «иметь». Рыцарь в серебряных доспехах, стоит ему повстречаться с рыцарем в золотых, тут же объявляет себя неимущим.

Но предположим на миг, думал он, что «имение», как бы мы ни определили его, что оно-то и есть корень зла.

Я имею, а Мордред не имеет. Из чувства противоречия он возразил сам себе: представлять дело так, будто Мордред или я вызвали эту бурю, — нечестно. Мы лишь подставные лица, за которыми стоят куда более сложные силы, действующие, судя по всему, под влиянием каких-то иных побуждений. Выглядит это так, словно некий импульс продирает все общество. Сейчас уже и Мордред почти беспомощен, его понукают люди, слишком многочисленные, чтобы их сосчитать: те, кто верит в истинность сказанного Джоном Боллом и надеется, утверждая всеобщее равенство, подобраться к власти, или те, кто видит в любом перевороте возможность протолкнуться вперед, прибегая к силе. Похоже, что этот импульс идет снизу. Последователи Болла и Мордреда — это желающие возвыситься неудачники, или рыцари, не игравшие заметной роли при Круглом Столе и оттого ненавидящие его, или бедняки, желающие богатства, или безвластные, рвущиеся к власти. А мои люди, для которых я не более чем талисман или знамя, — это рыцари, возглавлявшие Круглый Стол, богачи, защищающие свои владения, обладатели власти, не желающие с ней расставаться. Это силовая борьба имущих с неимущими, безумное столкновение множества людей, и вожди их тут почти ни при чем. Но ладно, пусть. Согласимся со смутной идеей о том, что войну вызывает «имение» как таковое. В таком случае, правильным был бы полный отказ от владения чем бы то ни было. Именно его, как время от времени напоминал Рочестер, и рекомендовал нам Господь. Говорено ведь было и богатому об игольном ушке, и о ростовщиках тоже. Вот почему, по словам Рочестера, Церковь не может слишком часто вмешиваться в скорбные дела мира сего, ибо нации, классы и отдельные личности вечно кричат «мое, мое» там, где Церковь учит говорить «наше». Если это верно, тогда вопрос не только в том, чтобы разделить имущество. Тогда делить следует все — даже мысли, чувства, жизни. Господь повелел людям отказаться от жизни, в которой каждый — сам по себе. Господь сказал, что лишь те, кто сможет отбросить свои ревнивые я, пустые индивидуальные представления о



счастье и горе, лишь те починут в мире и войдут в число избранных. Тому, кто хочет спасти свою жизнь, следует ее потерять. И однако же нечто в старой седой голове не могло принять правоверную точку зрения. Очевидно, конечно, что лучшее целебное средство от рака матки состоит в том, чтобы матки и вовсе не иметь. Быстродействующие радикальные снадобья могут избавить вас от чего угодно — в том числе и от жизни. Идеальный совет, которому, правда, никто не в силах последовать, состоит в том, чтобы не принимать никаких советов. Небесные советы для земли бесполезны. Новый истоптанный круг поплыл, вращаясь, в его голове. Возможно, войны ведутся из страха — из опасений за свою безопасность. Если истины не существует, если истина не поведена людям, тогда во всем, что лежит вонне отдельного человека, таится опасность. Да и поведав истину себе самому, все равно остаешься неуверенным в ближнем. Эта неопределенность способна в конце концов привести к тому, что начнешь видеть в ближнем угрозу. Так, во всяком случае, объяснял причину войн Ланселот. Он говорил, что самым насущным из всего, чем человек обладает, является его Слово. Бедный Ланс, он свое слово нарушил, и все же не много существовало на свете людей, чье слово было бы столь же надежным.

Возможно, войны случаются потому, что народы не верят в Слово. Напугавшись, они лезут в драку. Народы, как люди, — им тоже присущи чувства неполноценности или превосходства, мстительности или страха. И рассматривать отдельного человека как олицетворение целой нации — дело вполне разумное.

Подозрительность и страх, обладание и жадность, негодование по поводу сотворенного предками зла — все это составные части единого целого. И все-таки, перебирая их, решения не отыщешь. К настоящему решению Королю подобраться не удавалось. Он был слишком стар, изнурен и несчастен, чтобы додуматься до чего-либо нового. Он был всего только человеком, возжелавшим лучшего и пошедшим в своих размышлениях путем, на который его толкнул чудаковатый волшебник, питавший слабость к роду людскому. Последней его попыткой стала идея о справедливости, состоявшая в том, чтобы не совершать ничего несправедливого. Но и она привела к неудаче. Выяснилось, что делать что-либо вообще — до крайности трудно. Хотя себя-то он умудрился отделать весьма основательно.

Но, как видно, не до конца — и Артур доказал это, подняв голову от стола. В душе его присутствовало нечто непобедимое — величие, настоенное на простоте. Он выпрямился и потянулся к железному

колокольчику.

— Паж, — сказал он, когда в шатер, спотыкаясь и протирая кулаками глаза, вошел мальчуган.

— Мой господин.

Король пригляделся к нему. Даже в крайних его обстоятельствах он сохранял способность замечать других людей, особенно новых или достойных. Когда он в палатке утешал сломленного Гавейна, более всех в утешении нуждался он сам.

— Бедное дитя, — сказал он. — Тебе бы сейчас спать крепким сном.

Он вглядывался в мальчика с напряженным и утомленным вниманием. Давно уже не сталкивался он лицом к лицу с невинной ясностью отрочества.

— Послушай, — сказал он, — ты не мог бы доставить эту записку епископу? Только не буди его, если он спит.

— Мой господин.

— Спасибо.

Мальчик уже выходил, когда Король окликнул его.

— Обожди, паж.

— Мой господин?

— Как твое имя?

— Том, мой господин, — почтительно ответил он.

— Где ты живешь?

— Близ Уорвика, мой господин.

— Близ Уорвика.

Казалось, старик пытается представить себе это место, как если б оно было Раем Земным или страной, описанной МанDEVиллем.

— В местечке, называемом Ньюболд Ривел. Там красиво.

— Сколько тебе лет?

— В ноябре будет тринадцать, мой господин.

— А я продержал тебя на ногах целую ночь.

— Нет, мой господин. Я поспал на одном из седел.

— Том из Ньюболд Ривел, — с удивлением сказал Король. — Сколько же людей мы в это втянули. Скажи мне, Том, что ты собираешься делать завтра?

— Я буду сражаться, сэр. У меня есть добрый лук.

— И ты будешь убивать из этого лука людей?

— Да, мой господин. Я надеюсь убить многих.

— А если убьют тебя?

— Тогда я умру, мой господин.

— Понимаю.

— Так я отнесу письмо?

— Нет. Погоди немного. Мне хочется с кем-нибудь поговорить, только в голове у меня все как-то спуталось.

— Принести вам вина?

— Нет, Том. Сядь и постарайся выслушать меня. Сними эти шахматы с табурета. Ты хорошо все понимаешь, когда тебе рассказывают о чем-нибудь?

— Да, мой господин. Я понятливый.

— А поймешь ты меня, если я попрошу, чтобы ты не сражался завтра?

— Мне хочется сражаться, — решительно сказал мальчик.

— Всем хочется сражаться, Том, но никто не знает — почему. Допустим, я попрошу тебя не сражаться, в виде особой услуги Королю? Ты это сделаешь?

— Я сделаю то, что мне прикажут.

— Тогда слушай. Присядь на минуту, я расскажу тебе одну историю. Я человек очень старый, Том, а ты юн. Когда ты состаришься, ты сможешь пересказать другим то, что я расскажу тебе этой ночью, и я хочу, чтобы ты это сделал. Это тебе понятно?

— Да, сэр. Я думаю, да.

— Расскажи об этом так. Жил некогда король и звали его Король Артур. Это я. Когда он взошел на английский трон, он обнаружил, что все короли и бароны дерутся друг с другом, как сумасшедшие, и поскольку им были по карману дорогие доспехи, не существовало практически ничего, способного помешать им поступать как вздумается. Они творили много дурного, ибо жили, полагаясь на силу. И вот королю пришла в голову мысль, что силу должно использовать, если ею вообще стоит пользоваться, ради справедливости, а не ради самой силы. Слушай внимательно, мальчик. Он думал, что если ему удастся заставить баронов сражаться за правду, помогать слабым, исправлять злые дела, то все их драки могут оказаться не столь дурными, какими они некогда были. И он собрал вместе всех честных и добрых людей, каких только знал, и произвел их в рыцари, и научил их тому, что придумал, и усадил их за Круглый Стол. В те счастливые дни их было сто пятьдесят человек, и Король Артур всем сердцем любил Круглый Стол. Он гордился им больше, чем своей любимой женой, и новые рыцари его многие годы убивали страшных великанов, питавшихся человечиною, и спасали девиц, и выручали несчастных из заточения, и старались наставить мир на праведный путь. Такова была мысль Короля.

— По-моему, это была добрая мысль, мой господин.

— И добрая и недобрая вместе. Один Бог ведает.

— А что случилось с Королем под конец? — спросил мальчик, решив, что рассказ Короля завершен.

— По некоей причине, дела пошли худо. Стол раскололся на части, началась злая война, и в ней все были убиты.

Мальчик уверенно перебил его.

— Нет, — сказал он, — не все. Король победил. Мы победим.

Артур неопределенно улыбнулся и покачал головой. Ему нужна была только правда.

— Все были убиты, — повторил он, — кроме одного пажа. Я знаю, о чем говорю.

— Мой господин?

— Этого пажа звали Томом из Ньюболд Ривел, что близ Уорвика, и перед битвой старый Король отослал его под страхом ужасного бесчестья. Видишь ли, Король желал, чтобы остался кто-то, кто будет помнить про его славную мысль. Ему очень хотелось, чтобы Том вернулся в Ньюболд Ривел, и вырос мужчиной и прожил в Уорвикшире мирную жизнь, — и хотелось, чтобы Том рассказал всем, кто пожелает слушать, об этой старинной мысли, которая им обоим показалась когда-то доброй. Как ты думаешь, Томас, ты сможешь сделать это, чтобы порадовать Короля?

Глядя на Короля чистыми глазами безукоризненно честного человека, мальчик сказал:

— Для Короля Артура я все готов сделать.

— Вот храбрый малый. Теперь послушай меня. Постарайся, чтобы в голове у тебя не перепутались герои всех известных тебе легенд. Это я пересказал тебе мою мысль. Это я собираюсь повелеть тебе взять коня и не медля отправиться в Уорвикшир и не вступать со своим луком в завтрашнее сражение. Ты все понял?

— Да, Король Артур.

— Ты обещаешь мне впредь соблюдать осторожность? Помнить, когда дела в стране пойдут плохо и надеяться останется лишь на то, что ты уцелеешь, помнить о том, что ты — своего рода сосуд, в котором хранится наша мысль?

— Я обещаю.

— Это кажется проявлением эгоизма с моей стороны — использовать тебя таким образом.

— Это честь для бедного пажа, добрый господин мой.

— Томас, моя мысль о рыцарстве — это все равно что свеча, вот вроде

этих. Я нес ее долгие годы, защищая рукой от ветра. Нередко она норовила погаснуть. Ныне я вручаю свечу тебе, — ты понесешь ее дальше?

— Она будет гореть.

— Добрый Том. Светоносец. Сколько тебе лет, говоришь?

— Почти тринадцать.

— Быть может, еще лет шестьдесят. Половина столетия.

— Я передам ее другим людям, Король. Англичанам.

— Ты скажи им там, в Уорвикшире: что, не чудесной ли красоты свечу он нес?

— Скажу, приятель, уж это я им скажу.

— Ну, значит, так. Давай, Том, двигай, пора тебе поторапливаться. Возьми себе лучшего сына кобылы, какого найдешь, и дуй в Уорвикшир да так, чтобы тебя и кроншнеп не догнал.

— Я поскачу во весь дух, дружище, чтобы свеча не погасла.

— Ну что ж, добрый Том, благослови тебя Бог. Да про епископа не забудь, про Рочестера-то, как мимо поедешь.

Мальчик встал на колени, чтобы поцеловать руку своего господина, — накидка на его худых плечах, с гербом Мэлори, казалась до нелепости новой.

— Господин мой Властитель Англии, — сказал он. Артур ласково поднял его, чтобы поцеловать в плечо.

— Сэр Томас из Уорвика, — сказал он, — и мальчик исчез.

Мгла стояла в пустом величавом шатре. Ветер выл, оплывали свечи. В ожидании епископа старый, старый человек присел за читальный налой. Время шло, и голова его никла к бумагам. Глаза следившей за ним гончей, поймав отблеск свечей, горели призрачным блеском, словно янтарные чаши с погребальным огнем. Снаружи забухали пушки Мордредра — им предстояло палить во тьме до самой утренней битвы. Король, опустошенный последним усилием, отдался печали. Даже когда рука его гостя отвела полог шатра, тихие капли продолжали стекать по носу и падать на пергамент с ударами, мерными, как у древних часов. Он отвернул в сторону голову, — он не желал, чтобы его видели, но большего сделать не мог. Полог упал, и в шатер медленно вступила странная фигура в плаще и шляпе.

— Мерлин?

Но у входа не было никого: Мерлин привиделся ему в старческой дреме.

Мерлин?

Он вновь начал думать, но теперь так ясно, как никогда. Он вспомнил

престарелого некроманта, который учил его, — учил на примере животных. Существует, припомнил он, что-то около полумиллиона различных животных видов, и человек — всего лишь один из них. Конечно, человек тоже животное, не растение же и не минерал, верно? И Мерлин научил его при посредстве животных тому, что отдельный вид может узнать очень многое, вникая в проблемы, стоящие перед тысячами других видов. Он вспомнил воинственных муравьев, проводивших границы, и мирных гусей, не проводивших границ. Он вспомнил урок, преподанный барсуком. Вспомнил Ле-лэк и остров, увиденный ими во время перелета, остров, на котором мирно сожительствовавали все эти тупики, гагарки, чистики и моевки, сохраняя собственные разновидности цивилизации, не ведая войн, — потому что и они не проводили границ, И вся проблема внезапно легла перед ним просто, словно на карте. Самое фантастическое в любой войне состоит в том, что ведется она из-за ничего — в доподлинном смысле этого слова. Границы — суть воображаемые линии. Никакой зримой линии между Англией и Шотландией не существует, хотя из-за нее-то и давались сражения при Флоддене и Бэннокберне. Одна лишь география являлась причиной — политическая география. И все. Народы вовсе не нуждаются ни в единообразии цивилизаций, ни в единообразии вождей, — не больше, чем тупики или чистики. Пусть себе, подобно эскимосам и готтентотам, сохраняют собственную цивилизацию каждый, пока они в состоянии предоставить друг другу свободу торговли, свободу проезда и доступ в иные края. Странам следует обратиться в графства, — но в графства, сохраняющие собственную культуру и местные законы. Все, что требуется сделать, — это не воображать больше воображаемых линий на поверхности земли. Перелетные птицы обошлись без них, ибо такова их природа. Каким безумием казались границы Лё-лэк и еще покажутся человеку, если он сможет научиться летать.

Старый Король чувствовал себя исполненным бодрости, голова была совершенно ясной, он почти готов был начать все сначала.

Настанет когда-нибудь день, — должен настать, — и он возвратится в Страну Волшебства с новым Круглым Столом, у которого не будет углов, как нет их у мира, столом без границ между нациями, которые усядутся за ним для общего пиршества. Надежда на это коренится в культуре. Пока людей удастся уговорить читать и писать, а не только есть да предаваться плотской любви, все-таки существует возможность того, что они образумятся.

Но в ту ночь слишком поздно было для новых усилий. В ту пору судьба назначила ему умереть и, как кое-кто уверяет, быть перенесенным в

Авалон, где он мог ожидать лучших дней. В ту пору судьба Ланселота и Гвиневеры состояла в том, чтобы принять постриг, а судьба Мордредра — в том, чтобы погибнуть. Судьба человека — того ли, иного — это нечто менее капли, пусть и сверкающей, в огромном и синем волнении озаренного солнцем моря.

Пушки противника громыхали тем разодранным в клочья утром, когда Его Величество Король Англии с миром в душе шагнул навстречу грядущему.

*EXPLICIT LIBER REGIS QUONDAM REGISQUE FUTURI*  
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗАНОВО

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**



**1**

Доблестный рыцарь (фр.)

2

Бог в небесах, а на земле богиня (фр.)

3

Чума

«Почему дозволено им обижать нас? Ведь мы такие же люди, как и они.» (фр.)

5

По должности (лат.)

**6**

Вечный покой дай ему, Господи (лат.)

Приди, Святой Дух (лат.)

8

Наилучшего качества снадобье от Святого Фомы (лат.)



Перевод С. Степанова

**10**

Такова королевская воля (фр.)

**11**

Король подумает (фр.)

Человек свирепый (лат.)

Человек разумный (лат.)